

Тамара Черемнова

ТРАВА, ПРОБИВШАЯ АСФАЛЬТ

18+

Тамара Черемнова
Трава, пробившая асфальт

«ЛитРес: Самиздат»

2011

Черемнова Т. А.

Трава, пробившая асфальт / Т. А. Черемнова — «ЛитРес: Самиздат», 2011

Автобиографическая повесть новокузнецкой писательницы рассказывает о том, как воспитанница детдома, страдающая тяжелой формой церебрального паралича, прикованная к коляске, не могущая взять в руки ни ручку, ни ложку, смогла реализовать свой литературный талант и прославиться как сибирская сказочница.

Содержание

Часть 1. Бачатский детдом	5
Последние домашние вечера	5
Куда меня привезли?!	6
Невкусный суп	9
Соседки, воспитательницы, нянечки	10
Раздача подарков и мамин визит	12
Желаю умереть...	14
Что случилось с моей семьей	16
Детдомовское новогодие	17
Я встретила весну и узнала слово «гроб»	18
Летом на крыльце	19
Хочу черемухи!	20
Поросенок Борька	22
Доминошки	24
Самостоятельная прогулка	26
Дедушкины абрикосы	27
Стрекозы и вкус дождя	28
Познание мира	30
Панамка	32
Папа Саня	33
Родичи навещают меня	34
Детдомовская школа	36
Я научилась садиться	38
Зависть к тополю и муравьям	40
«В умственном развитии отстает...»	41
Материнское отвращение	42
Кому пожаловаться? Солнышку!	44
Телевизор	45
Сестренка Ольга	46
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Часть 1. Бачатский детдом

Последние домашние вечера

Живя дома, я особенно любила вечернее время, когда все ложились и наступала тишина. Только в кухне горел свет – баба с мамой завершали последнюю уборку, и оттуда через шторы в тёмную комнату падала уютная полоска света.

Я лежала на койке и слушала тишину родного дома. Приглушённые голоса на кухне долетали сквозь ласковую легкую дрему... Если бы я предчувствовала, что дом скоро навсегда исчезнет из моей жизни, я бы, наверное, постаралась запомнить каждую стеночку, каждую трещинку на ней, каждый лепесток в саду и каждый кусочек земли в огороде...

Однажды осенним днём, сидя в коляске, я увидела на комодике коробку цветных карандашей и тетрадку. Удивилась этой «незапланированной» покупке и спросила:

– Мама, это кому купили?

Мать как раз убирала мою постель. Медленно повернувшись, она смущенно ответила:

– Это мы тебе купили. Ты скоро поедешь в школу. Учиться будешь... читать, писать...

Я почувствовала скользкий холодок внутри, что-то в её интонации насторожило. И, как ни старалась, не могла представить себе, какой будет, эта школа.

После этого отец съездил в дом для детей-инвалидов посмотреть, что туда нужно везти. Они с мамой поначалу хотели доставить туда даже мою кровать. Но, оказалось, там есть подходящие кровати.

Решено было взять только две моих коляски – ходунки для прогулок и детскую коляску, в которой я сидела постоянно. Это была обычная прогулочная коляска, которую отец слегка переделывал по мере того, как я росла.

Домочадцы стали вести себя очень странно. Бабушка почти перестала ко мне подходить, а дед старался исчезнуть куда-то на целый день. Я остро чувствовала перемены, но не могла найти их причину. Став взрослой, поняла: они прекрасно знали, куда я попаду и каково будет там совершенно беспомощному ребёнку. Они чувствовали вину, ощущали неловкость и стыд, но решение уже было принято...

Куда меня привезли?!

Когда родители собрались перевозить меня, за окном стоял хмурый октябрь. В памяти не осталось ясной картины, осталось что-то нечеткое, серое, размытое, будто полустёртая страница... Поздним вечером мы с отцом доехали на станцию Бочаты, неподалеку от которой находился детдом.

Помню, как он нёс меня на руках от станции, как прижалась к его плечу и притихла от страха. Мы подошли к темному деревянному барaku, отец постучал в дверь, оттуда заскрежегали замком и распахнули дверные створки.

Меня внесли в комнату и положили на неопрятную кровать в приёмной комнате, в которую сбежались все, кто работал в тот день. Этот специализированный детдом организовали совсем недавно, и каждый поступивший ребенок вызывал невероятное любопытство персонала. А тут молодые здоровые родители сдавали ребенка, несколько странного в своих движениях. Когда я лежала, странность была незаметна, только если повнимательнее приглядеться к положению рук и ног. А так на кровати лежала совершенно обычная испуганная шестилетняя девочка.

Лежа на «приемной» кровати, я разглядывала грязные, давно не беленные стены, переводила глаза на незнакомых людей и спокойно ждала, когда отец переговорит со всеми, возьмет меня на руки и скажет: «Ну, дочка, а теперь поехали домой». И мы вернемся на станцию, сядем в поезд и вскоре будем дома.

Но всё обернулось иначе. Окружившие меня люди расступились, в приемную вошла мать, приехавшая заранее, чтобы обо всем договориться. На ней был казенный халат, застиранный так, что разноцветный рисунок ткани был еле виден. Она начала торопливо раздевать меня, глядя в сторону. Дождавшись, когда мать снимет с меня верхнюю одежду, отец подошел, наклонился, поцеловал меня и хотел уйти. Но ручонкой я невольно сбила с него шляпу, и он замешкался, поднимая ее с пола. А когда выходил, все заметили, как у него бегут слезы по щекам. Я этого, конечно, не помнила, да и не видела тогда его лица, это рассказала одна нянечка, когда я подросла.

Потом мать взяла меня на руки и понесла по длинному серому коридору. Зашла в палату, положила меня на свободную койку, попросила, чтобы к ней подвинули вторую койку, чтобы я не упала, и молча ушла. А потом выключили свет. В полутьме я стала разглядывать силуэты. Стояло много коек, на всех лежали дети-призраки. По палате металась здоровенная деваха со стриженной как у овцы головой – то есть голова у нее была острижена клочьями, местами торчали островки волос, местами виднелась кожа.

От совершенно незнакомой обстановки и страха я ничего не понимала и ничего не чувствовала. Мне даже показалось, что я умерла, и живыми остались только глаза, которые поневоле изучали совершенно непонятное место.

За окном наступила густая осенняя ночь, в палате стало тихо, и эта чужая тишина, совсем не такая как дома, помогла выйти из ступора. Всю ночь я всматривалась в темноту и ждала, что, тихо приоткрыв дверь, войдет мама, сядет на мою постель и утешит. Ведь мне так плохо!

Утром, едва няни стали проверять детей, чтоб перестелить тех, кто обмочился, я заревела белугой, отчетливо поняв, что меня бросили. Деваха с овечьей головой, что накануне металась по палате, начала как бешеный зверь носиться по проходу между коек. Она выглядела так дико и уродливо в серой казенной палате, что, наверное, ничего страшнее для меня придумать было нельзя.

Няни остановились возле моей койки и принялись утешать:

– Ну что ты плачешь? Посмотри, сколько у тебя здесь подружек. Вон Люда, такая же, как ты, лежит и не плачет.

Няни подняли Люду и под руки подвели к моей койке. Это была девчушка, которая тоже не могла ходить самостоятельно, и когда няни вели ее, я заметила, что она наступает лишь на пальчики. Еще по её лицу я поняла, что подходят к ней редко и еще реже ее поднимают. Люда улыбнулась, но от этого стало еще тоскливей, я отвернулась и снова заревела. Никогда так подолгу не плакала, и от долгого рева у меня пересохло во рту и обметало губы.

Через какое-то время в палату снова вошли няни и стали разносить завтрак. Подошла женщина с тарелкой каши, но я отвернулась. И женщина равнодушно отошла от меня, даже не предложив чаю, от которого я бы не отказалась.

У меня уже не было слез, они закончились, выплакала все, и я лишь тоненько подвывала, как полудохлый щенок. А тут еще стриженная под овцу деваха подскочила к моей койке и рывкнула:

– Чего орешь? Целый день орет и орет! Привезли ее на нашу голову!

Показалось, что в меня будто камень бросили, дома никто так зло не ругался. Мой вой тут же прекратился от страха, но тело продолжало беззвучно содрогаться. Уже не помню, до самого ли обеда я прострадала или все-таки забылась сном.

Помню только, что когда наконец пришла мать, едва завидев ее, я снова зарыдала в голос. Она взяла меня на колени и стала успокаивать, качая и приговаривая:

– Не плачь, посмотри, сколько здесь девочек, и никто из них не плачет. Мы с папой будем к тебе приезжать, будем брать тебя в гости на выходные...

– Я не хочу в гости, я хочу домой!!! – орала я, захлебываясь слезами.

Мать в те минуты мне показалась какой-то новой, чужой – то ли из-за казенного халата, что был на ней, то ли от того, что разговаривала со мной совсем по-новому. Она напоила меня водой, хотела покормить обедом, но я заупрямилась и не желала от нее отцепляться, и она никак не могла оторвать от себя мои скрюченные пальчики.

– Тома, мне же надо твою коляску доделать – обшить ее. А то, как ты будешь сидеть на необшитой коляске? Я её сейчас обошью, и тебе будет удобно на ней сидеть. А потом мне надо будет ехать домой, там Ольга одна, она тоже соскучилась и тоже плачет без меня.

Пока мать меня увещевала, я обратила внимание на то, что она меня называет не Нёмкой, по-домашнему, а Томой. Видимо, любимая Нёмка осталась дома, а сюда, в детдом, отдали ненужную Тому... То ли я к тому времени совсем ослабла от рыданий, то ли согласилась с доводами матери, то ли меня отрезвило обращение «Тома» вместо «Нёмки», но я ее отпустила.

Обед закончился, нянечки убрали посуду. И тогда в дверях палаты появился отец, но не прошел ко мне, а встал в проеме и прислонился к косяку. Я видела, как он улыбается. Захотелось завизжать, но у меня не осталось ни капельки сил. Я лишь уставилась на него и смотрела до боли в глазах. Появилась воспитательница и стала жаловаться ему:

– Ваша дочь все время плачет, ни в какую не хочет есть!

– Ничего, немного привыкнет и будет играть. Она такая изобретательная – из любой бумажки придумает себе игру, – ответил отец, развернулся и ушел.

К вечеру мне привезли коляску, уже обшитую мамой. То была обычная детская прогулочная коляска, для прочности и комфортности со всех сторон подбитая плотной материей. Детских инвалидных колясок тогда в Кузбассе то ли вовсе не было, то ли они были доступны лишь немногим.

– А где мама? – спросила я у нянечки.

– Твои мама с папой уехали. Мама попросила, чтобы тебя посадили в коляску. Если хочешь – посажу.

Я кивнула в знак согласия. Она посадила меня в коляску и ушла. Я вытянула шею, чтобы получше рассмотреть, что за окном. Там было всё серым-серо – унылая осень... Вдали увидела деревянный домик – точь-в-точь как наш! – и снова заплакала. И, несмотря на юный возраст,

твёрдо осознала, что в моем положении ничегошеньки нельзя изменить, ну совсем ничего! Если бы я ходила, то могла бы встать, уйти, сбежать отсюда! Но я была беспомощна...

Обычный больной, не хроник, знает, что пройдет какое-то время, он выздоровеет и снова будет наслаждаться жизнью. Или вот моя тётка, папина сестра, которую я называла Нянькой, – в восьмом классе ей трамваем отрезало ногу ниже колена, но она освоила протез, да так наловчилась, что бегала как на своих двоих. А у меня полная безысходность, когда ничего изменить, и я теперь должна существовать именно такой потому, что это моя *единственная форма жизни*. И я впервые размышляла – мне хотелось понять, почему у меня так? за что?

Мои мысли прервал приход парикмахерши. Не спрашивая и не реагируя на протестующие вопли, она быстро остригла мою голову наголо. Тут вошла Надька – та самая, что напугала меня «овечьей» стрижкой и звериным метаньем по палате, – и сочувственно спросила:

– Чего плачешь? Волосы жалко?

Надька мне уже не казалась такой ужасной. Нянечка мне сообщила, что у неё не всё в порядке с головой, что её взяли из «школы для дураков» (из вспомогательной школы), а стрижка такая страшная, потому что стригли не машинкой, а ножницами.

Мой скулеж услышали в коридоре, в палату зашел кто-то из персонала и позвал мальчишку постарше меня:

– Покатайте эту девочку по коридору, чтобы ей не было скучно.

Мальчишка, взял мою коляску, весело покатил ее, а я грустно сидела и думала про свое.

Ночью мне пришла в голову интересная идея: а что, если снять мою кожу? Эта кожа плохая, она мешает мне двигаться, как все люди. А под плохой кожей наверняка есть другая, хорошая, ничему не мешающая, и вот в ней я уж точно встану и буду ходить. Но как это сделать?

Все уснули, а я решила, как царевна-лягушка в сказке, содрать с себя виновную в беде кожу и стала под одеялом царапать ногтями свои коленки до крови, пока не почувствовала боль. Немного поразмыслив, поняла, что кожа у меня одна-единственная и другой под ней нету. И безнадежность вновь навалилась на меня каменной плитой.

В полусне пришло видение: будто койка несет меня на станцию, сама собой забирается в поезд, затем, как умный послушный конь, доставляет меня в целости и сохранности прямо в наш двор. Из дома выходит баба, снимает меня с койки-коня и говорит «спасибо». А я радостно восклицаю: «Вот я и приехала!».

Потом видение исчезло, и я вернулась в свою мрачную безысходность. Не дай Господи еще раз прожить то отчаянье!

Когда меня *сдали* в специализированный детский дом для детей с физическими и умственными отклонениями, расположенный в поселке Бачатский Беловского района, близ станции Бочаты, мне было 6 лет и 10 месяцев. Именно так они и пишутся: станция через «о», поселок через «а». Потому что образованы от разных слов. «Бочаты» – это бочки, а «бачат» на местном наречии означает «яма». И меня – как в бочку законопатили и в яму бросили...

И в этом детдоме-яме предстояло провести долгих 12 лет.

Осваиваясь, я быстро поняла, что такое детдомовская жизнь. Хочешь не хочешь, а придется привыкать, а за что-то, возможно, придется и побороться.

Но тогда я не знала, что с такой же легкостью, с какой определил меня в детдом, отец уйдет из семьи. И, наверное, в оправдание своему этому поступку, возьмет себе в жены хроменькую женщину. А на суде, когда их с матерью будут разводить официально, скажет про жён: «Я одну обидел, вторую обижать не хочу...».

Невкусный суп

Проснувшись утром, я медлила, чтобы не выходить из чудесного сна, где возвращаюсь домой. Но когда осознала, что это только сон, снова разревелась. Ко мне никто не подходил, завтраком обошли, увидев, как я реву и отрицательно мотаю головой.

Няни уже начали греметь посудой в коридоре, готовясь к обеду, когда в палату заглянула молодая воспитательница в белоснежном халате. Внимательно посмотрела на меня, подошла, присела на краешек постели и приветливо просила:

– Как тебя зовут?

Я перестала реветь и насторожилась. Она разглядывала меня и, чуть улыбнувшись, повторила свой вопрос:

– Ну, так как тебя зовут?

– Тома Черемнова... – все еще всхлипывая, ответила я.

– Тома, сейчас принесут обед, и я тебя покормлю.

– А мама где? – насупилась я.

– Мама твоя сейчас на работе, а в выходной обязательно к тебе приедет, – сказала она, вставая. Потом вышла в коридор и вернулась с тарелкой супа в руках.

Я шмыгнула носом, но она не дала мне успеть отказаться, зачерпнула ложкой суп и, подув на него, протянула ложку. Я покорно разинула рот и проглотила. И очень удивилась – проглоченное вообще не напоминало суп. Это была густо сваренная пшенка, заправленная картошкой и рыбными консервами. Почувствовав на языке рыбью косточку, я выплюнула ее на полотенце, которым воспитательница прикрыла мне грудь, чтобы я не обливалась.

– Вот молодец! Вкусный суп? – спросила она.

Я скорчила рожу. Суп был для меня слишком необычным, он был первой едой, которую я попробовала в детдоме. Потом привыкла.

...Через много лет, когда я все же добилась перевода из отделения психохроников в дом инвалидов общего типа, я поклялась, что если когда-нибудь покину казенное заведение и обрету родные домашние стены, то в первый же торжественный вечер обязательно приготовлю именно этот странный суп. Но судьба, увы, еще не предоставила мне такого счастья, как свой дом. Да и вряд ли уже предоставит...

В мою память навсегда врезались первые впечатления от детдома – унылые серые стены, окна без занавесок и долгое ожидание нянечки. Но самым ужасным была тишина. Даже представить страшно – целая палата детей и полное отсутствие разговоров и смеха от ухода и до прихода нянь, только стоны и мычание.

А та молодая воспитательница – Зинаида Степановна Еськова – проработала в детдоме со дня его открытия по 1968 год. Насмотревшись на *наши* страдания, она, видимо, так испугалась предстоящих *своих*, что повесилась, когда ее сын-первенец родился с водянкой мозга.

Соседки, воспитательницы, нянечки

И на следующий день повторился мой рев, и я снова отказалась от еды. Это всем, видимо, надоело. Ходячие разбежались из палаты сразу после завтрака, лежащие молчали, а мне оставалось реветь до самого обеда, в одиночку переваривая свою беду. Однако в тот день мне не дали прореветься. В палату зашла уже другая воспитательница, Дина Васильевна, взяла меня на руки и понесла в коридор. Глядя меня, она утешала:

– Ну что ты все время плачешь?..

– Домой хочу! – сипела я.

– Чего это она так ревет? – недовольно поинтересовалась женщина, сидевшая в коридоре в ожидании главврача.

– Недавно привезли, скучает по дому. У меня дочка такого же возраста, как задержусь на работе, тоже скучать начинает, – объяснила женщине Дина Васильевна и обратилась ко мне: – Томочка, давай договоримся, ты не будешь больше плакать, я с тобой погуляю, а потом твоя мама приедет.

Я всхлипнула, но реветь дальше не было сил. Дина Васильевна поносила меня по коридору и снова занесла в палату. Хотела было положить на койку, но я вцепилась в нее и захныкала.

– Тома, ты же обещала, что больше не будешь плакать, – мягко сказала она и погладила по спине. – А может быть, у тебя что-то случилось?

– Я на горшок хочу, а тетя ругается, – наябедничала я шепотом.

И рассказала, что утром, когда вошла няня и принялась менять мокрое белье под лежащими девочками, я попросила одну из них посадить меня на горшок, но та никак не отреагировала. Может, не расслышала? И, когда она приблизилась к моей койке, я завопила во всю глотку:

– Тетенька, я на горшок хочу!!!

Няня повернула голову в мою сторону:

– Что, без горшка не уссышься? Думаешь, я перед одной тобой стоять буду? У меня, кроме тебя, целый корпус, – мрачно заявила она и ушла.

Я в этом возрасте никогда не мочила простыни, и даже понятия не имела, как это делать прямо на постель? И реалии казенного заведения – ходи под себя и жди, когда перестелют – мне были неведомы. И это все я изложила Дине Васильевне. Та достала из-под койки горшок и, усадив меня на его, кликнула нянь в палату. Прибежали сразу три, и она строго сказала им:

– Вот эту девочку надо обязательно высаживать на горшок, она под себя не ходит. Поэтому подходите к ней почаще. Она все понимает и прекрасно разговаривает.

Трое нянь, уперев руки в бока, удивленно разглядывали меня. Одна, самая бойкая, стала оправдываться:

– Знаете, нам бывает некогда. Если мы не сможем подойти, пусть она просит девочек посадить ее на горшок. Вот, например, Нина может сажать ее на горшок.

– Нина, будешь сажать Тому на горшок? – дружелюбно спросила Дина Васильевна мою соседку по койке, уже взрослую на вид девушку.

– Ладно, буду, – покорно согласилась Нина, самая тихая и безотказная девочка в палате.

Няни постояли, недоуменно переглядываясь, подняли меня с горшка, посадили в коляску и вышли из палаты. Из-за двери я услышала их недовольные голоса и поняла, что недовольство в мой адрес.

Через койку от меня лежала еще одна взрослая девочка лет четырнадцати. Она была для меня самой страшной после по-овечьи стриженной Надьки. У неё была неприятная привычка

– подойдет к человеку, заведет свои руки за спину, оттопырит губу, закатит глаза на лоб и прогнусавит: «Ну чо?».

Меня пугало ее сходство с бабой Ягой, нарисованной в книжке, что осталась дома. Вспомнилось, как однажды вечером родителям надо было срочно куда-то отлучиться. Они уложили меня в постель, а чтобы не скучала, сунули в руки первую попавшуюся книжку с картинками. Я открыла ее и увидела бабу Ягу, летящую в ступе. Стала внимательно разглядывать её, изучая каждую черточку, и до того, видимо, напрягла глаза, что мне показалось, как баба Яга шевельнулась. Я так отшвырнула книжку, что она улетела под родительскую кровать, а я натянула на голову одеяло и боялась вылезти оттуда. Так и уснула, не дождавшись возвращения родителей.

И вот сейчас эта ожившая баба Яга донимала меня своими «ну чо?». Случись это дома, я бы тут же бойко показала ей язык, но здесь от испуга лишь вжималась в спинку коляски и умоляюще смотрела: отойди, пожалуйста...

Потом принесли мои вещи – тетрадку и коробку с цветными карандашами. Открыв коробку, я посмотрела на цветные карандаши, и в горле снова застрял комок слез. Вспомнила, как эта коробка лежала на комодe, как я ее впервые открыла, какими яркими они показались тогда и как поблели здесь.

А когда ввезли мои ходунки (мать обшила их так же, как коляску) и поставили меня в них, я повисла, не опираясь на ступни, так ослабла за время сидения в коляске и безутешного рева.

Своей маленькой головкой я не могла найти словесное обозначение того, что произошло, и еще не знала слова «предательство». Я чувствовала, что меня просто столкнули в глубокую и страшную пропасть, на дне которой копошились, шевелились, пытаясь выжить, такие, как я, и не такие, как положено быть детям, – дети-инвалиды.

Раздача подарков и мамин визит

Две недели прошли как один длиннющий кошмар, дни были уныло похожи один на другой. Я еще наивно надеялась, что меня отсюда непременно заберут, но человек оттого и живет дальше, что не знает, каково его будущее.

Через две недели в детдоме открыли второй корпус, и нас разделили. Совсем тяжелых лежачих и невменяемых оставили на своих местах, а остальных, включая меня, перевели. И снова серая продолговатая комната, кровати в два ряда, как в солдатской казарме, пять окон и небольшая печка.

Моя койка оказалась за этой самой печкой, по ночам я смотрела на отблески огня, тихо-нечко плакала и панически боялась открытых окон. Ведь у нас дома окна на ночь всегда закрывали ставнями, а вдруг кто залезет.

Дня через три после расселения, когда нас утром подняли и я уже сидела в коляске, в палату вошла воспитательница с двумя большими коробками и сообщила:

– Девочки, я принесла вам подарки. Сейчас каждой дам по подарку, но если кто не будет слушаться, у того подарок заберем. Ну, с кого начнем?

Одну коробку поставила на пол, а из второй стала извлекать ленты и расчески. Раздав девчонкам по ленте и по расческе, она нагнулась к коробке, стоящей на полу, и стала перебирать находящиеся в ней предметы. Выудив из кучи оберточной бумаги маленькую куклу, протянула ее мне. Я скорчила недовольную мину – никогда не любила кукол, и дома-то в них не играла.

– Ты чего сквасилась? – удивилась она.

– Ленточку хочу, – осмелела я.

– Ну и на что ты ее будешь привязывать? На уши? – хмыкнула она, указав на мою наголо обстриженную голову. Сунула мне в коляску куклу и вышла из палаты.

Девчонки примеряли яркие ленты и вертели в руках большие, видимо, для длинных волос, расчески. А я, сидя в коляске с нежеланной куклой на коленях, завидовала их подаркам и волосам. Ничего хорошего в кукле не было – белое платьице в мелкий красный цветочек, грубо нарисованное личико, на голове коричневая закраска, обозначающая волосики. И я ни капли не жалела, что она у меня через час исчезла, наверное, кто-то из нянь утащил домой для своих дочек.

А еще через два дня нам выдали покрывала ядовито-зеленого цвета, тоже представив как подарки. В «мертвый час», так именовали время дневного сна, они висели на спинках кроватей, и я, не умевшая спать днем, смотрела на них до боли в глазах.

Однажды утром я глянула на противоположное окно и увидела на крыше соседнего корпуса снег. Вот и зима пришла. Снег на крыше лежал такой же пушистый, как и у нас дома, во дворе...

На улице был мягкий зимний день. После обеда ходячая ребятня, у кого была теплая одежда, высыпала во двор, а я сидела в коридоре напротив окна, смотрела на закрытые ворота детдома и мечтала, как ко мне приедут родители, привезут мою черную шубку с белой шапочкой, и отец на руках понесет меня на станцию.

Через три или четыре дня приехала мать, я упросила ее вынести меня на улицу. Она сначала ссылаясь на то, что меня не во что одеть, ведь вся моя зимняя одежда осталась дома. Но меня поддержали девчонки, посоветовав ей завернуть дочку в одеяло. Сидя с матерью на улице, я поначалу боялась спросить: когда меня заберут домой? Но потом осмелела и спросила.

– Вот когда приедем вдвоем с папой, тогда и возьмем тебя домой. Я же одна не донесу тебя до станции, – виновато ответила мать. И так стыдливо отвела глаза, что я уже окончательно убедилась в том, что меня сюда определили надолго.

После её визита я слегла с температурой, а утром по всему телу высыпала розоватая сыпь. Главврач решила, что это ветряная оспа и уже собралась отправить меня в изолятор, но я сказала, что дома болела ветрянкой.

– Ааа, значит, нервное... – протянула главврач и спокойно ушла.

После этого приезда матери я стала чахнуть и таять, будто слепленная из снега. Няни больше не сажали меня в коляску по утрам, кормили с ложки прямо на койке, но я почти ничего не ела.

В детдом – видимо, в связи с расширением – стали набирать новых сотрудников. Пришли новые няни, и среди них оказалась Анна Степановна Левшина, родная сестра нашей старшей медсестры, из-за этого родства ее и приняли на работу.

Увидев меня, Анна Степановна стала допытываться, как моя фамилия, я назвала, она сделала вид, что не поняла, спросила снова, и так переспрашивала раз десять. Я видела, что она прекрасно меня понимает, но няня явно добивалась, чтобы я разволновалась, смутилась и стала бояться ее.

Приходя в ночную смену, Анна Степановна начинала разгонять всех по койкам, не разрешая никому даже тихо посидеть, дети в ее смену зарывались от страха под одеяло с головой. А она ходила по коридору от палаты к палате и прислушивалась, никто ли не шевелится. Больше всего ее грубых окриков выпадало на мою долю, ведь я из-за гиперкинеза (неконтролируемые движения рук и ног), не могла лежать спокойно. И когда эта садистка слышала, что я задвигалась на койке, тотчас же раздавался ее зычный крик:

– Черемнова! Чего ты возишься под одеялом?

От страха я сжималась, и на глаза наворачивались слезы. Иногда безумно хотелось в туалет, но приходилось терпеть и ждать, когда няни всех поднимут – по распорядку часов в одиннадцать-двенадцать ночи детей поднимали и предлагали «сходить на таз». Если б только кто-то мог слышать, как я сама себя уговаривала потерпеть до этого момента! Иногда, так и не дождавшись времени «сходить на таз», я засыпала, а потом, проснувшись, мучилась из-за невозможности опорожниться. Какой мерой можно измерить эти страдания больного ребенка? Почему ребенок должен лежать с переполненным мочевым пузырем? Неужели так сложно высаживать на горшок по необходимости, а не по команде?

Справедливости ради отмечу: старшая медсестра была вполне нормальной и доброй женщиной. А вот ее родная сестра, эта Анна Степановна, оказалась утонченным инквизитором. Ну куда ей в нянечки? Такие няни только калечат детскую психику.

Анна Степановна застряла в моей памяти на много-много лет. А когда через четыре десятилетия я написала сказку-повесть «Шел по осени щенок» и там фигурировала дурная уборщица, безжалостно гонявшая шваброй беззащитного щенка, звали уборщицу, конечно же, Анна Степановна. В повести её быстро усмиряют и напоминают, что её работа мыть полы. А вот реальную Анну Степановну поставить на место было некому.

Желаю умереть...

Воспитатели попросили нянь, чтобы те, невзирая на мою апатию, по утрам одевали и усаживали меня в коляску, чтобы пробудить хоть какой интерес к жизни. Но я и в коляске сидела вялая, безразличная ко всему, с полуприкрытыми глазами. Просто тихо заставляла себя умирать, не желая вступать в этот чуждый, насильно навязанный мне мир.

Вскоре шаловливая ребятня открутила все гайки у моей коляски, и ею стало невозможно пользоваться. В игровой комнате стояла лишняя кровать, меня приносили теперь на эту кровать. Укладывали поудобнее и тут же забывали о моем существовании. И я была рада этому, и ни в чем внимании не нуждалась, потому что решила поскорее покинуть это холодное, голодное, грязное, гнусное, гадкое, унижительное место. И понимала, что убежать отсюда могу только одним способом – умерев.

Здания, в которых мы обитали, правильнее было бы назвать строениями. До приюта для больных детей здесь располагалась школа лесоводов. Она состояла из двух деревянных бараков с печным отоплением, в каждой комнате находилось по печке, которые днём топила истопница. Ночью печки должны были поддерживать ночные няни, чего те не делали, поэтому к полуночи во всех комнатах печки еле теплились, а одеяла старенькие, не толще простыней, и мы ужасно мерзли.

Но самое ужасное и постыдное состояло в другом: в нашем корпусе-бараке не было ванной комнаты, где бы можно было мыть таких, как я, хотя бы раз в неделю. А я была домашней чистюлей, нас с двоюродным братиком Серегой купали каждую неделю. За два месяца жизни в детдоме меня ни разу не помыли. В другом корпусе, где меня принимали, впоследствии оборудовали ванны для ослабленных детей, а в нашем корпусе их было негде поставить. И мыться можно было лишь в длинном ряду раковин с холодной водой. Ходячих тоже не водили в баню – не у всех имелась зимняя одежда.

Результат антисанитарии не заставил себя ждать – у всех в палате завелась чесотка. Для меня это было настоящей пыткой – чесалось, в основном, сзади: спина, лопатки, недостижимые для моих парализованных рук. Представляете, что у вас зудит вся кожа, а вы не можете почесаться.

В довершение моих бед я была в детдоме самой маленькой, одежды моего размера не имелось, и на меня напяливали, что под руку попадет. Бывало, такое оденут, что хоть через подол меня вытаскивай, хоть через ворот, везде свободно прохожу.

По сей день свербят в памяти тошнотворные эпизоды, связанные с манной кашей. Повара ленились непрерывно мешать её во время варки, и крупа сбивалась в комки. Я ненавидела эти манные комки, как сунут ложкой комок в рот, хоть плачь. И разжевать силенок нет, и противно, и тошнит. А выплюнуть нельзя – няни тут же начинают мерзко орать:

– Чего выплевываешь кашу? Не хочешь жрать, так и скажи!

Особенно усердствовала злобная Анна Степановна Левшина. Тогда я стала хитрить. Когда меня кормили, то на грудь клали полотенце, чтобы я не обливалась, и я научилась незаметно выплевывать в это полотенце манные комки. Так удавалось съесть хоть немного жидкой каши и избежать грубого крика нянь. Но потом, когда они вытряхивали полотенце и оттуда вылетали манные комки, мне всё равно доставалось.

Я с ужасом наблюдала, как дежурная няня преспокойно ест эту кашу с комками, и у нее по скулам ходят желваки. Ничего не скажешь, здоровая деревенская баба, проголодавшаяся за день, она могла съесть и не такое. А меня, не умеющую справиться с манной кашей, ночью мучил зверский голод, казалось, что желудок прирос к спине, внутри у меня ничего нет, я как пустой мешок.

Потом я научилась прятать в подол своего необъятного платья кусочки хлеба и есть их ночью. Были у нас нянечки, которые сами раздавали оставшийся хлеб желающим, а были и такие, которые все остатки еды без разбору вываливали в помойное ведро и относили свиньям.

И кормили няни по-разному. Иная предварительно остудит еду, бережно поднесет ложку к моему рту, дождется, когда я проглочу, и ни капли не прольет. А Анна Степановна поставит тарелку с супом на тумбочку и начинает пихать ложку за ложкой, невзирая на то, что суп огненный. И хоть вся исплачусь перед ней, что губам больно, она свое твердит:

– Ничего, пузо согреется!

После такой варварской кормежки ошметки еды обнаруживались повсюду – на одежде, на постельном белье, на полу. В ее смену я всегда отказывалась от еды и мечтала поскорее умереть.

Что случилось с моей семьей

Ничто не проходит безнаказанно. Избавившись от больного ребенка, родители развязали узел, державший семью. Почувствовав себя свободным, отец начал жить заново, с чистого листа. И пока я рыдала в детдоме, в моем родном доме разыгрывалась своя трагедия. То, что меня сдали в детдом, не принесло родителям ожидаемого облегчения. Поехав в отпуск в деревню, где родился, отец присмотрел там себе в новые жены ущербную хромую девушку. Наверное, из соображений, что та будет боготворить его, что снизошел до нее, уважать, почитать и безоговорочно слушаться. А, может, просто устал от непростой и нескладной семейной жизни с моей мамой. Или всерьез полюбил. Забегая вперед, скажу, что второй папин брак окажется удачнее первого, у него родится третья (после меня и моей младшей сестры Ольги) дочка, они получат отдельное жилье и все такое прочее...

Мать, узнав о папином решении оставить семью, забрала Ольгу и ушла к своим сестрам. Так опустела наша уютная комната в доме бабы и деда.

Став взрослой, я долго размышляла: почему же никто из моей родни не воспрепятствовал моему определению в детдом? Баба? Дед? Тетя Тамара, в честь которой меня назвали и которую я нежно именвала Нянькой? Другая моя тетка – Валя?

Для бабы я не была родной по крови. Мой молодой дед приехал из деревни в Новокузнецк, женился на молодой бабе, а в один прекрасный день, невесть откуда, объявился дедов сын от предыдущего брака. Этот сын от первой жены и был моим отцом. А через какое-то время он привел беременную подругу – это и была моя мама. И баба, не смея перечить мужу, уступила пасынку с женой комнату своих родных дочек. Могу представить, как тяжело ей далась та уступка! Тем более что одна из дочек, одноногая Тамара, продолжала проживать в отчем доме через стенку от нас.

Однако баба ко мне привязалась, и я, хотя и узнала со временем, что не родная ей, все равно считала себя ее внучкой. Мне, маленькой домашней девочке, любимой и балуемой родичами, казалось, что дома все замечательно, ладно и складно.

Как любой ребенок, я любила своих близких и не задумывалась: а любят ли те друг друга? Иногда видела, как мать с отцом ссорились, но дед всегда жалел невестку. Я наблюдала их жизнь со своей колокольни и многого не понимала. И мне было неизвестно, что под одной крышей вынужденно живут люди, которые давно ненавидят друг друга.

Потом часто вспоминала, как отец, придя вечером с работы, ложился на кровать и отворачивался к стенке, а мать поясняла: папа устал. А, может, он не только устал, может, уже рисовал в мыслях свою новую жизнь и мозговал, как ее начать? Женившись на хромой, он хотел привести ее в родительский дом, но баба воспротивилась пасынку:

– Если бы ты не сделал все втихаря, по-подлому, я бы тебя пустила. Но ты уехал, никому не сказав, что собираешься разводиться. А раз так, то идите и живите, где хотите.

И те ушли жить к папиной второй сводной сестре, пока не получили квартиру. Вот так, после сдачи меня в детдом, семья разбилась вдребезги, и осколки разлетелись во все стороны. В каком-то смысле справедливость восторжествовала, но мне от этого было не радостно, а больно.

В тот дом и дворик я уже никогда не вернусь... Каждый год зима будет замечать дорогу снегом, будут вырастать сугробы, а потом весенние ручьи будут замывать те предательские шаги отца, когда он выносил меня из калитки, чтобы бросить в детском доме.

Детдомовское новогодие

Наступил Новый 1963 год, мой первый новогодний праздник вне дома. Я первый раз в жизни увидела, как дети наряжались в маскарадные костюмы, как девчонки танцевали танец снежинок, как Дед Мороз с воспитателями раздавал подарки. А ночью представляла, что на будущий год я тоже буду в маскарадном костюме.

В это время родители выясняли отношения, им было не до меня. И, наверно, поэтому мой ослабленный организм стал понемногу крепнуть, и я стала постепенно оживать. Ведь ничто так не рвало душу как появление матери, её отведенные в сторону глаза и поспешный уход без поцелуя на прощанье.

Произошло еще одно приятное изменение, няням надоело нас будить по ночам, и теперь девчонки могли вставать в любое время в туалет, и я могла их попросить о помощи, вместо того, чтобы ждать до полуночи. Верной ритуалу оставалась лишь злобная Анна Степановна. Помимо жесткого обхождения с детьми, она имела дурную привычку обсуждать сотрудников. И когда заходила речь о том, кто с кем дежурит в ночную смену, няни горестно вздыхали, если им доводилось работать с Анной Степановной Левшиной, а за глаза называли ее исключительно по фамилии.

Другие ночные няни вели себя по-домашнему. Не только разрешали посидеть после отбоя в коридоре и отдавали оставшийся хлеб, но и сами ужинали в нашей палате, попутно приглядывая за нами. И не отказывали, когда я просилась к девчонкам на кровати, что стояли посередине. Помню, сдвигали вместе три койки и ложились, прижавшись друг другу, все ж не так холодно и не так одиноко.

Были и среди девчонок «командирши», обожавшие помыкать другими. Например, Надька с «овечьей» стрижкой обожала покомандовать. Однажды ночью я захотела в туалет, мне пришлось будить всегда помогавшую Нину. Видимо, мой голос разбудил и Надьку.

– Чего орешь на всю палату, никому спать не даешь? Только посмей еще раз разбудить! – рыкнула она на меня, перепугав до смерти.

После этого мне приходилось лежать и терпеть, пока кто-нибудь из девчонок не встанет по своей нужде и заодно не поможет мне.

Я встретила весну и узнала слово «гроб»

Наступившая весна отвоевывала все больше и больше прав. Это была моя первая весна на детдомовском пятачке, где собрано столько горя и столько людских пороков. Сюда как в пропасть кидали никому не нужных больных детей. И отгораживались от этой пропасти...

У нас даже кладбище было свое, отдельное от поселкового, – крохотное кладбище детдомовских калек, будто они после смерти могли заразить остальных.

Больше всего умирали не в нашем, а в другом корпусе – не дотягивали и до десяти лет. Чем отличались эти два корпуса? В нашем корпусе собрали детей мало-мальски соображающих и способных объясниться. А в другом корпусе, который в нашем обиходе именовали «корпус для слабеньких» или «слабый корпус», размещали детей, неспособных передвигаться самостоятельно и с глубокой умственной отсталостью, проще говоря, лежачих идиотов. Можно представить, какой за ними был уход! И их никогда не выводили и не выносили гулять, даже не знаю, сколько человек там обитало.

В нашем корпусе многие худо-бедно доживали до 18 лет, и достигших официального совершеннолетия отправляли во взрослые дома инвалидов или в психоневрологические интернаты, так называемые ПНИ. Первую партию взрослых ребят из нашего корпуса увезли через полгода после моего прибытия.

Я рано узнала слово «гроб». Новые гробы привозили на открытом грузовике и сгружали в морг – при нашем детдоме имелся свой морг – прямо в присутствии гуляющих детей. А гробы с покойниками отвозили на лошади за железнодорожную линию в реденький лесок – на то самое обособленное детдомовское кладбище.

Мимо детдома совсем близко проносились поезда, в освещенных окнах вагонов пассажирских поездов можно было из окна палаты различать пассажиров: мужчина или женщина, мальчик или девочка. Ох, как же долго эти поезда перестуком колес напоминали мне о родном доме...

Летом на крыльце

Как-то незаметно подоспело лето, и потеплело, и раззеленелось. Меня стали выносить на улицу. Сначала для неходячих стелили одеяло в садике на траве, но вскоре озорные ребятишки свалили оградку и вытоптали траву. Со временем кое у кого появились свои коляски, кое-кто мог сидеть на лавочке, а для меня стали стелить одеяло прямо на крыльце.

В нашем корпусе было два выхода на улицу, один с просторными сенцами и каменным крыльцом. Именно на это крыльцо меня выносили и клали, подстелив тонюсенькое хлопчатобумажное одеяльце. Все бы ничего, но одно ужасное обстоятельство вынуждало меня сползать с одеяла на холодные плиты крыльца.

Дело в том, что в эти сенцы закрывали буйного пацана Витьку, и тот, сидя запертым с двух сторон, начинал изо всех сил колотить в двери, ведущие на крыльцо. И, лежа под содрогающимися от его ударов дверьми, я ужасно боялась, что они сорвутся с расшатанных петель и придавят меня. Но как я ни уговаривала нянечек не стелить мне одеяло под самые двери, они упорно стлали именно на этом месте, уверяя, что двери прочные и Витька не сможет их сорвать. А вот если положат на край, то я могу упасть с крыльца и убиться.

Ничего не скажешь, железная логика у наших нянь! А то, что у меня застудятся все косточки и впоследствии измучают болячки, приобретенные в раннем детстве, в том числе и на этом самом крыльце, им и в голову не приходило. Вероятно, никто из них и просто не мог предположить, что жалкая уродинка, которую всю постоянно дергает и коверкает, доживет до зрелых лет. И уж никто не мог и помыслить, что она вырастет, выправится, добьется снятия неверного диагноза «олигофрения», будет писать книжки для детей, публицистические статьи для взрослых и станет членом Союза Писателей России... Но тогда перед ними была лишь маленькая калека, пытающаяся выжить, несмотря на несправедливую жестокость взрослых.

После ужина ребятня еще часок гуляли на улице, а я уже лежала на своей кровати и смотрела на противоположную стену, которая становилась зловеще красной от заходящего солнца. Я закрывала глаза и чувствовала, как меня затягивает смертельная тоска. В такие минуты я старалась припомнить до мельчайших подробностей свою домашнюю комнату дома, свой дворик, свою постель, свой прежний мир, в котором не было место изматывающей тоске...

Хочу черемухи!

Я видела в своих горьких воспоминаниях, как въётся дорога между двумя рядами деревянных домиков на окраине города Сталинска, который впоследствии вновь переименуют в Новокузнецк. И как бежит дым из трубы одного из них – домика, в котором я родилась.

Наш дом не был новостройкой – дед с бабой, поженившись, купили его готовым. Добротный и удобный с двором, садом и огородом. Там прошло мое детство, я была весела, резва, шаловлива, капризна, как все дети. Различие с другими детьми состояло лишь в том, что доступ в окружающий мир был для меня ограничен. Я не задумывалась тогда специально, что испытывает ребенок, находясь в тисках физической ограниченности, как переносит эти ограничения, удобно ли ему жить, и вообще, что такое маленький инвалид в нашем обществе?

Попробую восстановить в памяти некоторые подробности тех лет – наверное, самых счастливых для меня, потому что потом жизнь превратится в многолетнюю войну за место под солнцем, за право быть ЧЕЛОВЕКОМ со всеми последствиями, вытекающими из этого слова по смысловому определению и божьему замыслу. Борьба за мои законные права, заниженные людским равнодушием.

Итак, въется пыльная незаасфальтированная дорога, вдоль деревянных домиков. У некоторых из них еще не потемнели бревна – их поставили совсем недавно. У одного из домов через невысокий штакетник клонится на обочину дороги зелень небольшого сада с роскошными георгинами.

Я стояла и смотрела на сломанные цветы. Понимала, что меня отругают, если увидят. Попыталась наклониться и поднять сломанные георгины, но ходунки не позволили это сделать. Я с ненавистью посмотрела на узкую калитку сада, через которую победно пролезла три минуты назад. Можно попробовать незаметно выбраться и, хотя все домочадцы знают, что цветы ломаю только я, как-то отвертеться, но...

– Томка, кто помог тебе сюда забраться? – качает головой отец. – Вот посмотри, ты опять сломала цветки, а мама так их выхаживает. И как пролезла-то?

– Ты сам мне показал, как сюда забираться, – надувшись и пригрозившись расплакаться, бубню в ответ.

– Когда же я тебе показывал, как сюда можно забраться? – отец от удивления даже перестает сердиться.

– А когда мамка клубнику-викторию пошла полоть, – поясняю и вижу изумление на отцовском лице.

В тот день отец проявлял фотографии, а я крутилась возле него и мешалась, то стол качну, то под руку толкну. Когда по моей вине смазались две или три фотографии, у него лопнуло терпение, он утащил меня к матери в сад, и я запомнила, как боком втаскивал ходунки в узкую калитку.

Будучи очень сообразительной, я проделала это самостоятельно, приподняв один бок ходунков, и постепенно втиснула их в злосчастную калитку сада. В какое-то мгновение застряла, но, раскачав ходунки, смогла выбраться. А ведь калитку в сад специально сделали узкой, чтобы я не могла пробраться через неё без посторонней помощи.

Отец возмущенно схватил сзади ходунки и вытащил их вместе со мной, орущей на весь двор.

– Хочу черемухи! – заорала я.

– Я тебе сейчас сам нарву, только не ори, – обещает отец, чувствуя на себе любопытные взгляды прохожих.

– Сама хочу нарвать! – дохожу я до поросячьего визга, но, чувствуя, что ходунки продолжают вместе со мной неумолимо плыть в отцовских руках к сениям дома, сдаюсь.

– Пап, я больше не буду, отпусти! – ходунки плавно опускаются на землю.

– Том, скажи, зачем я, по-твоему, сделал калитку в сад узкой?

– Чтоб мы с Серегой не лазили, – отвечаю я, упомянув двоюродного брата, на полтора года младше меня.

– Ну, если Сергей один войдет в сад, он не сломает цветы, а вот ты своими ходунками все попортишь. Поняла? – спрашивает отец.

Я покорно киваю головой.

– Гуляй во дворе, и чтобы ни в саду, ни в огороде я тебя больше не видел. Увижу, что ты опять куда-то залезла, посажу в коляску, – ставит условие отец.

В ответ я фыркаю, но протеста не выражаю – сидеть в коляске радости мало, я не могу в ней передвигаться самостоятельно.

Все в округе знали, что в нашем доме растёт больной ребенок. Хотя ко мне, резвой и активной, определение «больной ребенок» никак не подходило. Другой вопрос, что при всей резвости и активности я не умела вставать и ходить, не могла садиться сама, и руки были подвластны мне не полностью. Однако, благодаря ходункам, которыми управляла лучше, чем своим телом, я легко осваивала пространство. И ощущала их как нечто неотделимое от меня, а не как неуклюжие громоздкие подпорки. С едой тоже были проблемы: я научилась самостоятельно есть только твердую пищу, поднеся кусочек ко рту, но не могла есть ложкой и пить из чашки – роняла и расплескивала.

Сегодня, в зрелом возрасте, я, конечно, вижу своё детство все в другом ракурсе и понимаю, насколько непросто было родителям иметь больного ребенка в то дикое по отношению к инвалидам время. Хотя и по сей день ребенок-инвалид часто воспринимается российским обществом как какое-то неправильное и неверно запрограммированное существо. Но я думаю, что матушка-природа всё равно умнее человека. И если рождается ребенок-инвалид, это означает, что природа хочет этим что-то подсказать человечеству.

В то далекое советское время – вторую половину пятидесятых, шесть счастливых лет с моего рождения до отправки в детдом были самым светлым отрезком моей жизни. Но этот отрезок закончился, благодаря трём буквам ДЦП, гвоздями вколоченным в мою биографию и расшифровывающимся как «детский церебральный паралич».

В моей карте был написан безысходный диагноз «поражение ЦНС». Теперь я знаю, что «поражение ЦНС» – очень расплывчатый диагноз, не уточняющий, что именно поражено в центральной нервной системе. Однако его оказалось достаточно, чтобы навеки изолировать ребенка от большого мира и упечь в специализированное закрытое учреждение.

За какую провинность мне был уготован этот крест? Только спустя полвека я ответила себе на этот вопрос. Ничто не дается человеку просто так, в каждом отдельном жизненном случае есть свое определение, свое предназначение и своя логика.

Поросенок Борька

Итак, отец вернулся в дом, оставив меня во дворе, и я облегчено вздохнула – сломанные георгины снова сошли с рук. И развернула ходунки, еще не зная, что бы такое предпринять.

Во дворе было пусто, только за воротами весело визжали девчонки, играя на обочине дороги, где лужи еще не высохли после дождя. Я с завистью смотрела на них, мне тоже хотелось измазать ноги грязью по самые колени и пробежаться по мокрой тропе, громко хлюпая подошвами сандалий. В такие минуты я ощущала пустоту внутри, но, конечно, не понимала, что мне никогда не придется вот так же пробежаться ногами по тропе и пошлепать пятками по грязи. Я даже не задавалась вопросом, почему не могу ходить без ходунков, как все? Позавидовав девчонкам, я развернула ходунки и уныло поплелась к дверям дома. Но возле лавочки остановилась, увидев лежащий прут. Потянулась за ним, еще не очень соображая, зачем он мне нужен и нужен ли вообще.

В это время в закутке визгнул поросенок Борька. Я подождала, не выйдет ли бабушка на этот визг, и, взяв прут в зубы, направилась к Борьке. Поросенок услышал, что к его дверце подошли, радостно хрюкнул и высунул пяточок в прорезь дверцы. Но поняв, что это не те, кто его кормит, имея в виду бабу или мою мать, спрятался обратно. Мне хотелось, чтоб Борька высунулся, и я стала дразнить его прутом.

Сначала он не обращал внимания, но потом не выдержал и стал хватать прут зубами. Я так увлеклась, что даже не слышала, как ко мне присоединился мой двоюродный брат Серега.

– Том, а Том... Я тоже хочу с Борькой поиграть, – заканючил он.

– Найди себе свой прут и играй, – важно посоветовала я.

Серега нашел подходящий прут и присоединился ко мне. Мы до того раззадорили поросенка, что он вставал на задние ноги и доверчиво высовывал к нам пяточок.

Но потом у Борьки кончилось терпение, он, изловчившись, выхватил у Сереги прут и утащил к себе. Серега обиженно засопел.

И тогда я предложила:

– Давай накормим Борьку, вот баба похвалит нас.

– А чем мы его накормим? – уставился на меня Серега.

– Я сегодня видела, как баба Борьке готовила пойло, она крошила туда капустные листья.

Листья еще остались – лежат в сенях. Беги и принеси, я же не могу.

Серега сбегал в сени и принес два огромных капустных листа. Мы спустили их поросенку через прорезь в двери и стояли, слушая, как он сладко чавкает за дверцей. Сожрав листья, Борька снова высунул свой пяточок в надежде получить добавку.

Серега принес еще два капустных листа, а потом еще и еще, и так, пока во двор не вышла баба. Мы даже не слышали, как она вышла. И оглянулись только, когда она заплакала.

– Ну что за детки? Одно наказание! Что же вы наделали, окаянные? Креста на вас, что ли, нет? – причитала баба.

– Ты чего, Клава? – спросил дед, выходя из сеней.

– Да вот детки Борьку, наверно, убили, – заголосила баба.

– Ты чего плетешь? Как убили? – не понял дед.

– Да они ему все листья с капусты скормили, что лежали в сенях!

Дед подошел, открыл дверцу. Борька лежал возле порога, дед тронул его носком ботинка, Борька лениво открыл глаза, посмотрел на деда в надежде на добавку и лениво хрюкнул.

– Да нет, ничего страшного, просто малость объелся, – сделал заключение дед и закрыл дверцу.

Баба не была скупой женщиной, просто поросенок в те годы был дороже золота для простых людей, бежавших из разваливающихся деревень на стройки века, каких много было в

Кузбассе, и где их с радостью брали как дешевую рабочую силу. Особенно охотно брали деревенскую молодежь, она создавала семьи и застраивала избами окраины будущего индустриального города. Из таких изб, как наша, выросли целые улицы, и складывался стихийный полугородской-полудеревенский «город-сад» вместо спланированного в тридцатые годы.

В этом «городе-саде» познакомились и мои дед с бабой, и мой отец с матерью, происходившие из деревень Новосибирской области. С горькой иронией я думаю о писателях, которые захлеб писали книги о стройке века, но умалчивали о деталях.

Например, что женщин нагружали кирпичами, как выносливых верблюдиц. Для этого использовали специальное приспособление для носки – деревянная доска с ляжками, которая одевалась на спину, как рюкзак, а на нее накладывали кирпичи от пояса до самого затылка.

Это была норма, женщина несла тяжесть до места назначения, а в советской литературе это преподносилось как геройство. И где же сейчас писатели, разжиревшие на своих ныне полузабытых книгах? Не грызет ли их совесть за то, что не замечали у себя под ногами втоптываемые в землю человеческие судьбы?

Самое возмутительное, что женщины работали в таком режиме и с такой нагрузкой во время беременности. На ранних стадиях, когда еще не знали про свою беременность, и на более поздних, когда знали, но не хотели переходить на более лёгкую, но менее оплачиваемую работу, и даже скрывали свою беременность, чтобы не упускать заработка.

Допускаю, что такое поведение во время беременности является одной из причин ДЦП. Переносимая тяжесть может вызвать внутриутробную асфиксию плода – на секунду перекрыли доступ кислорода к головному мозгу. Этого достаточно для ДЦП, даже если дальше беременность протекает без осложнений.

Но вернемся к поросенку. Дед закрыл Борьку в закутке, положил на наши головы свои ладони и усмехнулся. На наших детских лицах была, наверное, недетская растерянность. Я никогда не видела, чтобы баба так плакала, захотелось подойти и пожалеть ее. Но не успела, появился отец, сурово вытащил меня из ходунков и посадил в коляску. Это означало, что на сегодня мои дневные приключения закончены. Я сидела в коляске, разобиженная на всех, и перемалывала в головенке свои обиды.

Уже потом я вспоминала, как баба плакала по якобы убитому нами поросенку, и думала: а плакала ли она так по мне, сданной в детдом?

Доминошки

Здоровый ребенок во дворе, даже в отсутствие игрушек, сразу найдет себе занятие и развлечение. Он может присесть на корточки и копаться в песке, соорудить что-нибудь из щепочек и тряпочек или играть в дочки-матери. Мне это было недоступно, в ходунках я могла стоять или передвигаться, но никак не нагибаться. Иногда на улицу выносили игрушки, чтобы я могла поиграть, но мешали мои нескоординированные движения.

Однажды подарили детское домино, и мать, снарядив меня на улицу, разрешила взять его с собой. На улице, подойдя к лавочке, я осторожно вытащила коробку из кармана, положила и открыла. Но едва начала переворачивать, чтобы высыпать доминошки на лавочную доску, мою руку дернуло, и все костяшки полетели врассыпную. Я завопила на весь двор:

– Мамка, я домино рассыпала!

Мать вышла подбирать домино, и когда доминошки были собраны, оказалось, что в коробке не хватает трех, а после второго падения и собирания не хватало больше половины. За какие-то десять-пятнадцать минут было растеряно красивое домино.

– Нёмка, не ори! Мне надо в доме убираться, поиграй во что-нибудь сама, – приказала мать, утомившаяся поисками доминошек, и ушла в дом.

Игра в домино с тех пор так и не состоялась.

Тогда не было игрушек «по моим рукам», а кукол я не любила потому, что ничего не могла делать с ними руками, разве что таскать их за одну ногу.

Больше всего мне нравилась играть с двоюродным братцем Серегой. Он переворачивал два стула перед моей коляской – это была кабина автобуса. Я брала хозяйственную сумку, надевала ее на шею и начинала голосить, изображая кондуктора. Сам Серега был шофером, но иногда превращался в пассажира, которому я вручала билет. После нашей игры бабе приходилось убирать по всем комнатам разорванную на билетики газету.

Странно в те годы вели себя врачи. Они милостиво оставляли жить детей-инвалидов, но совсем ничегошеньки для них не делали. А ведь ребенок-инвалид – это не домашняя зверюшка, а человек. И ни в коем случае нельзя считать, что если он накормлен, помыт и одет, то миссия по уходу и воспитанию выполнена.

Врачи почему-то уверяли родителей, что мой паралич после двенадцати лет сам собой пройдет, и родители верили в это. Волшебная фраза «паралич пройдет сам собой после двенадцати лет», повторяемая на все лады, в конце концов, усыпила их бдительность. И вместо того чтобы как-то противостоять моему заболеванию и не давать ему прогрессировать, родители ровным счетом ничего не делали. А болезнь брала свое, после пяти лет координация движений резко ухудшилась. И если до того родители были уверены, что я подрасту и начну держать в руке ложку, а, может, и вилку, то после пяти лет эта уверенность испарилась.

Повторное обращение к врачам и обследование закончилось диагнозом «необратимое поражение ЦНС» с пояснением «она никогда не поправится». И меня отдали в специализированный детдом в виду полной бесперспективности.

А надо было всего лишь переступить через ложный стыд, что ребенок у них не такой, как все дети, что нуждается в большем уходе и медицинском внимании. Да и нужны были не столько медицинские услуги, сколько бытовая сообразительность. Ну что стоило моим родителям постелить на пол дедов тулуп, положить меня на него и оставить одну? Я бы равно рано или поздно начала садиться сама, а потом, может быть, попыталась бы встать. Ведь у меня же был интерес к движению!

Если б они хоть разок задумались, на какую страшную зависимость от окружающих обрекают меня своим равнодушием! Парализованные люди понимают, что такое каждую секунду

сознавать, что твое тело ничегошеньки не может сделать само, а твой дух игнорирует это и требует для себя жизни. Укладывание на тулуп и оставление в одиночестве могут кому-то показаться безжалостным приемом. Но много ли жалости они проявили ко мне, сдав в детский дом для инвалидов? Кстати, именно там, брошенная без присмотра, я и научилась самостоятельно садиться.

Моя мать или баба могли бы вечером делать мне лечебный массаж, если бы их кто-то этому научил, невелика премудрость, сегодня эти курсы массажа и инструктажа для родителей детей-инвалидов проводятся повсеместно. Но они не думали об этом, а ждали чуда.

Самостоятельная прогулка

Мне строго-настрого запретили выходить в ходунках за ворота потому, что по дороге целый день туда-сюда сновали грузовые машины. Однако запрет перестал существовать, как только я научилась сама откидывать на воротах крючок.

Было пять часов вечера, дед вернулся с работы пораньше. Я увидела его, когда он подходил к воротам.

– Ой, дедка пришел! – радостно завопила я на весь двор.

Дед открыл ворота, зашел во двор и поймал меня вместе с ходунками, летящей прямо на него со всех ног.

– Эх, Томка... И когда только ты у нас без ходунков научишься бегать? – горько вздохнул он.

– Дедка, пойдем, погуляем по дороге, – запищала я просительно.

– Немного отдохну, и погуляем, – пообещал дед. Он ушел в дом, а я осталась возле ворот.

За оградой собралась компания подростков, пацаны натягивали вдоль дороги веревку, собираясь что-то соорудить. Я наблюдала за ними, пока они крутились возле наших ворот, но потом отошли подальше. Покрутила головой, глянула вверх и зацепилась взглядом за крючок. Раньше я не могла достать до крючка, хотя мне до ужаса этого хотелось, ведь я видела, что за воротами бегают малышня, даже младше меня. Оглянувшись, чтобы убедиться, что баба не видит меня в окно, я потянулась к крючку. И не поверила своим глазам – пальцы доставали до крючка! Ощутила радость и гордость. Во-первых, оказывается, я здорово подросла, а во-вторых, вспомнила... Однажды, когда я глазела на прохожих, мне почудилось, что если я в ходунках пробежусь по дороге, то обязательно начну бегать без них, исключительно на своих ногах.

Откинув крючок, я открыла ворота и выпорхнула (насколько этот глагол применим к моему передвижению в ходунках) на дорогу. Но у обочины дороги была колея, и я намертво застряла в ней. Меня окружили гулявшие дети. Они с интересом рассматривали меня, а я их. Наверное, я тогда впервые почувствовала себя жутко неуклюжей. Но дети смотрели доброжелательно, кое-кто даже подбадривал, потому что я им помогала дразнить нашего общего неприятеля – соседского рыжего мальчугана Валерку. Я громче всех орала этому бедняге вслед «Валера-холера!».

Хоть и интересно было очутиться за воротами, но я с опаской оглядывалась по сторонам, не едет ли машина. И намеревалась осуществить задуманное – пробежаться по дороге. Я дергала ходунки, но они намертво застряли в колее. А тут еще у подростков, мастеровивших неподалеку, что-то хлопнуло, и над моей головой пролетела обгорелая веревка. Я не успела ничего сообразить, как дедка уже затаскивал мои ходунки за ограду.

– Томка, кто тебе помог ворота открыть? – строго спросил дед.

– Ой, дедка! Я теперь сама умею их открывать, – похвасталась я.

– А кто тебе разрешил их открывать? – еще строже спросил дед.

– Больше не буду, – заныла я.

– Так и быть, прощаю тебя, – сказал дед, прижав меня к себе.

– Дедка, давай расскажем всем, что я выросла, – предложила я.

– Обязательно расскажем, что моя внучка выросла, – согласился дед и понес меня в дом.

Дедушкины абрикосы

Уж не знаю, за что меня так любил дед. Однажды осенью родители собирали выкопанную картошку и, прежде чем ссыпать ее в подполье, решили просушить на чердаке. Когда разложили всю картошку, дед взял Серегу с собой на чердак, чтобы показать местность с высоты. Серега забирался по лестнице, а дед его только страховал, чтобы не упал. Когда они спустились, я завопила на весь двор:

– Папка, я тоже хочу на чердак!

– Никуда тебя не потащу! Ты что, не видишь, что я устал? – заругался отец.

– Нёмка! Как тебе не стыдно? У Сережи папы нет, вот деда и хочет научить его по лестнице ходить, – попыталась пристыдить меня мать.

Дед подошел к моей коляске, вынул меня, посадил на плечи и стал забираться по лестнице. Я чувствовала, как рука у него дрожит от напряжения. Все осуждающе смотрели на это чудачество. Мы с дедом уселись на чердаке, он закурил. А я, вытянув шею, старалась разглядеть город, строившийся по ту сторону речки Горбунихи, что текла мимо нашего огорода и уходила далеко-далеко за водонапорную башню.

Если бы я тогда знала, что совсем скоро настанет время, когда рядом не будет ни матери с отцом, ни деда с бабой... я бы крепко прижалась к деду, чтобы получше запомнить этого родного человека...

Вспоминалось еще одно чудачество, доказывающее любовь деда ко мне. Однажды он ездил отдыхать и с курорта привез чемоданчик, доверху наполненный абрикосами. Одарив каждого из домашних одной абрикосиной, он подошел к моей коляске, распахнул передо чемоданчик и ласково сказал:

– Ешь, внучка! Это все тебе!

Все онемели от удивления.

– Миш! Она же не съест столько, только передавит и выпачкается, – возмутилась баба.

– Цыц! – ругнулся он. – Пусть поест вволю, а мы за ней подыдем.

А я, довольная, чуть ли не всем своим тельцем залезла в чемодан и, как и предвидела баба, измазюкалась в абрикосах от макушки до туфелек. Потом меня выдернули из чемодана и унесли купать, а помятые абрикосы доедали уже без меня.

Стрекозы и вкус дождя

В честь Няньки, Серegiной матери, я и была названа Тamarой. Может, это плохая примета – назвать в честь одноногой? Ведь не зря говорят, что новорожденному нельзя давать имя болящего, увечного или трагически погибшего родственника, чтобы не накликасть на младенца беду. И как бы ни распоряжались нашими судьбами *там, наверху*, как бы ни мудрили, вкладывая особую идею в каждое человеческое существо, но то, что в моей судьбе перебор горечи – это очевидный факт.

Видимо, и Бог допускает ошибки. А может, он специально отпустил такую щедрую порцию горечи безвинному ребенку, чтобы посмотреть, как тот оправдает бесценный дар под названием Жизнь...

Меня, как и всех детей, манило всё новое, и я, как и другие дети, торопилась поскорее познать волшебный красочный мир. Как-то после проливного дождя Нянька принесла большую переливающуюся зеленую стрекозу:

– Томка, посмотри, кого я поймала!

– Ой, где ты взяла такую? – зачарованно спросила я.

– На улице после дождя их много летает, – ответила Нянька.

– Дай в руки! – попросила я.

– Ты её помнешь, и она умрет. Я лучше её отпущу. – И ушла со стрекозой в руках.

А я после этого случая, просыпаясь, каждое утро прислушивалась, не идет ли за окном дождь?

Долгожданный дождь пошел через неделю. Был выходной день, нас с Серегой искупали, женщины успели перестирать белье и после пяти вечера планировали пойти помыться к соседям в баню. Но после обеда ливанул дождь с грозой, и все остались дома. Я подтащила ходунки к порогу, намереваясь открыть дверь.

– Нёмка, ты куда это собралась? – удивленно спросила мать. – Разве не видишь, что там дождь?

– А ты разве не знаешь, что там сейчас красивые стрекозы летают? – спросила я.

– Какие еще стрекозы? – возмутилась баба.

– Томочка, дождь кончится, и я тебе обязательно поймаю стрекозу, – пообещала Нянька, выглянув из своей комнаты.

– Я сама хочу посмотреть, как они летают. Вы все уже видели, только одна я не видела, – заупрямилась я.

– Ты сегодня посмотришь. Только подожди, дождь закончится, на улице немного подсохнет, и пойдешь смотреть своих стрекоз, – миролюбиво согласилась баба.

– Они тогда улетят! – продолжала упрямяться я.

– Будешь упрямяться – вообще никуда не пойдешь! – осадил отец, выходя на кухню.

– А вот и пойду, и прям сейчас! – категорично заявила я.

– Вот за то, что упрямишься, никуда не пойдешь, – отец подошел к двери и задвинул засов, до которого я не могла дотянуться.

Я молча смотрела на массивный засов, а в душе боролись два чувства: обида, что никогда не увижу красивых стрекоз и не полюбуюсь, как они летают после дождя, и понимание, что на улице дождь, и там сейчас грязно. Победили красивые стрекозы. Я уперлась лбом в дверь и заревела. Ревела и ревела, и когда доревелась до хрипоты, дедка не выдержал, встал, подошел к двери, открыл засов и, взяв за ходунки, вытащил меня на улицу. Но едва отпустил, я почувствовала, что ходунки проваливаются вместе со мной в вязкую жижу. Ноги сразу же

промокли, я попробовала сдвинуть ходунки с места, но не удалось их даже пошевелить, они намертво засели.

Выглянуло солнце, с крыши падали большие дождевые капли, а сказочно красивых стрекоз нигде не было видно. Я подняла голову и виновато посмотрела на дедку, он всепонимающими глазами смотрел на меня, оба отлично представляли, что ждет нас дома. Дед молча занес меня в дом... И вот тут память услужливо прячет не очень приятные воспоминания, стирая подробности. Только помню, как баба молча снимала с меня мокрые ботинки, и сколько недоброго в этом движении...

А вечером у меня поднялась температура, в груди захрипело, и пришлось ставить горчичники. Перед глазами живо всплывает воспоминание, как отец таскает меня, орущую в жгучих горчичниках, по комнате на руках, а я уже плачу не столько от боли, сколько от сознания вины.

Но однажды родители полностью удовлетворили мое «дождевое» любопытство. Помню себя, сидящую в саду под зонтом под теплым грибным дождем, и солнце, пробивающееся сквозь тучу. Незабываемое впечатление! Мне его хватило на всю жизнь. Вы не представляете себе, что означает для больного ребенка вот так почувствовать дождь...

Познание мира

Обычно дома по утрам я просыпалась оттого, что над моей кроватью открывалась окно, и в комнату врывается летний солнечный день или день с дождливым шорохом. А осенью – с чуть слышным касанием осенних падающих листьев. А зимой, когда окно лишь чуточку приоткрывалось, – морозец холодил щеки, и на стекле светились волшебные ледяные узоры.

Но дольше всего в памяти задержалось, как моя красивая мама по утрам открывала ставни снаружи, и я любовалась ею в солнечном законном пространстве как портретом в раме. Это светлое воспоминание ничем не сотрешь, даже предательство перед ним бессильно. Мамино предательство...

Сколько бы потом я ни видела от нее унижений – да таких, что охватывал недоуменный испуг, ведь эта женщина была в прошлом моей любящей мамой, а потом преисполнилась такой тупой жестокости – все равно в памяти не стираются светлые воспоминания.

...Иногда в детдоме ночью, когда к горлу подступала невыносимая горечь, и хотелось выть волчонком, но там нельзя было даже заплакать, потому, что заплакать просто так считалось слишком большой роскошью.

– Никто ее не обижал, а она разревелась! Мало ли, что тяжело, здесь всем тяжело, но никто не плачет! – говорили со злостью няньки. И в этом было что-то чудовищное, хотя теперь понятно, что они сами уставали, и им до смерти надоедало смотреть на наши страдания.

Так вот, в такие ночи я выдергивала из памяти ту прошлую маму – настоящую, не предавшую. И невольно начинала думать, почему моя мама стала такой?

И снова возвращаюсь в далекое детство, где все солнечно и нет еще никакой беды. Не надо думать, что меня так уж сильно баловали, бывало, что и ругали как всякого другого ребенка.

Мне тогда было лет пять. Нас у родителей уже двое, в январе 1960-го родилась моя сестра Ольга, здоровый спокойный ребёнок, не доставляющий особых хлопот. Был нежаркий полдень августа. Мать прогуливала Ольгу во дворе, я была там же. Сестра заснула у матери на руках, и она понесла ее в дом уложить в кроватку, наказав, чтобы я никуда не лезла.

Я послонялась по двору в ходунках минут десять и решила тоже зайти в дом. Я ведь сама перелезала через порог, и ничего со мной не случилось. И в этот раз я забралась на земляной скат, покрытый ровными досками и заменяющий крыльцо, благополучно миновала сени и открыла дверь в избу. Поставила передние колеса ходунков на порог, который со стороны сеней был очень высоким, и схватилась за щеколду, висевшую сбоку на косяке. Но второпях не заметила, что не поставила ноги на порог. С силой дернув за щеколду, чтобы ходунки перескочили порог, я беспомощно повисла на перекладине ходунков. Колеса съехали с порога, и я со всего маха хлопнулась мордашкой прямо об него, ощутив всю его твердость.

Сначала не ощутила боли, и первой мыслью было, если кто-нибудь зайдет и увидит, что я опрокинула ходунки, меня отругают. Но, приподняв голову, увидела на пороге лужу крови, сообразила, что это моя собственная кровь, и испустила громкий рев.

А дальнейшее уже не помню, то ли память опять услужливо прячет неприятные моменты, то ли я потеряла сознание. Помню, что было уже позже, я лежу у бабы с дедом на койке, а на кухне громко ругаются мои домочадцы.

Никто даже и не предполагал, в какие дали я отправляюсь в своих снах. В этих совершенно не детских снах я постоянно возвращалась в чье-то (уж точно не мое!) страшное прошлое в военное время. Мне мало кто поверит, решат, что я это сочиняю, чтобы сделать свою книгу загадочнее. Но уверяю вас, никакого сочинительства.

Даже трудно сказать, когда этот сон начал меня преследовать. Кажется, он был со мной с самого рождения, просто, когда подросла, я стала его анализировать. В этом сне взрослого человека я всегда убегала от танка. Хотя никогда в жизни не видела настоящего танка. Снилось, что я бегаю по дому и не знаю, где спрятаться от страшного танкового дула, а оно меня почему-то везде находит, куда бы я ни пряталась.

Еще один вариант этого сна – я бегу по изрытому снарядами полю, справа от меня горит хлеб, а слева то ли железнодорожное полотно, то ли какие-то рвы. Но любой вариант этого сна заканчивался одним и тем же, на меня смотрит дуло, я чувствую, что сейчас прогремит выстрел... и просыпаюсь.

И странное дело, когда просыпалась, срабатывала какая-то блокировка, я совершенно не боялась и твердо знала, что этого в моей жизни никогда не будет. До сих пор задаю себе вопрос: откуда у маленького ребенка этот страшный сон? Ну ладно бы насмотрелась страшных фильмов, и это навеяло соответствующие сны. Но ведь телевизоров в нашем обиходе тогда еще не было, а смотреть взрослые фильмы в кино меня не брали. Так откуда же этот сон?! Загадка... Или предчувствие того, как поступит со мной жизнь?

Панамка

Сестре Оле исполнился годик; чтобы выносить ее на улицу, мать сшила чепчик. Не было только кружева для оторочки, и мать решила отпороть кружево от моей старой панамки. Ткань на ней сносилась, а кружево оказалось прочным. А я из этой панамки почти не вылезала, она была удобная и на завязочках. Но, несмотря на мою любовь к ветхой панамке, мать решила сделать по-своему, и сколько я ни орала, что это *моя* панамка, распоролла ее.

Собрав меня на улицу, вместо распоротой панамы надела на меня новенькую, только что сшитую, беленькую, аккуратненькую, на одной пуговке. Я вышла на улицу, и через три минуты со двора донесся мой рев. Домочадцы в недоумении высыпали из дома во двор.

– Нёмка, ты чего ревешь-то? – недоумевала мать.

– Панамка-а-а! – орала я, захлебываясь рыданиями.

Все подумали, что панамку у меня кто-то отобрал, но оказалось, что едва я вышла на улицу и непроизвольно мотнула головой из-за своего заболевания, новая панамка слетела с головы и оказалась в огороде.

Панаму нашли, водворили на мою голову. Однако история повторилась, ну никак не хотела панамка без завязок держаться на моей чрезмерно подвижной голове! После трех полетов с головы на землю она превратилась в грязную тряпку. Тогда от меня, отстали, и с тех пор я гуляла без панамы.

Папа Саня

– Пап, пойдём к тете Вале, ну ты же обещал... Ну папа Саня... – через каждые пять минут назойливо напоминаю я отцу.

– Я тебе что сказал? Дочитаю книжку, и пойдём, – отвечает отец.

Мы остались дома вдвоем, остальные разошлись по делам. Отец сидит на бревнах, привезенных дедом для домашних нужд, и читает учебник – он тогда готовился на вечерние курсы. Но, видимо, из-за моей назойливости ничего из прочитанного не может понять.

Я чуть ли ни носом водила по странице его учебника и ныла:

– Ну когда мы пойдём к тете Вале?

– Побудь тут, унесу книгу в дом, и пойдём к тете Вале, – покорился он.

Но я знала характер своего папаша, когда ему было неохота что-то делать, он готов был отвязаться от меня любым способом. Ушел в дом и не выходил. Я подождала и, когда поняла, что он меня обманывает, решила пойти к тете Вале самостоятельно. Направилась к воротам, откинула крючок, вышла и стала раздумывать, как лучше дойти. Тетя Валя доводилась моему папе сводной сестрой (по матери), и жила в начале улицы, а наш дом стоял в середине.

Передвигаться по дороге я побоялась, понимала, если проедет машина, то мне некуда свернуть. Воль оград была протоптана тропинка, туда-то я и сиганула в ходунках и побежала. Разумеется, по-настоящему бегать я не могла, но постаралась изобразить из себя бегущую – гоню по тропинке ходунки и стараюсь погромче топтать сандаликами. Картина, должно быть, препотешная. Соседи смотрят на меня и улыбаются. Уже миновала три дома, когда догнал отец, схватил сзади ходунки, что у меня аж зубы цокнули. И грубо потащил домой.

– Что, Саня, уже в догонялки играете? – шутили соседи, спрашивая отца.

А я пролежала в кровати зареванная до самого вечера. Вечером, когда собрались домочадцы, отец рассказал про мое бегство. Все хохотали, а я про себя твердила «все равно сама убегу».

Когда отец был в духе, он прогуливал меня, посадив к себе на загривок, и таким же макаром водил в цирк и в зоопарк. Я тогда даже представить не могла, что мой папка сначала отвезет меня в детдом, а потом уйдет из семьи. До сих пор пытаюсь найти оправдание этому поступку, но, не вижу в нём ничего, кроме мужского эгоизма.

Хотя нет, одно оправдание все же есть – никому не хочется выглядеть неполноценным. Ведь когда у вроде бы совершенно здоровых родителей рождается инвалид, это как бы свидетельствует об их внутреннем нездоровье, выявляет скрытые заболевания, незримые дефекты, которые выходят наружу через ребенка-инвалида. И тогда мужчина чаще всего обвиняет женщину и безжалостно бросает и ее, и ребенка.

Но причины врожденной инвалидности самые разные: и генная мутация, и родовая травма, и заражение плода, и плохая экология, которая вроде бы не приносит видимого вреда ни детям, ни взрослым, но отыгрывается на внутриутробном существе...

А, может, сама матушка-природа не хочет, чтобы все люди были одинаковыми, и демонстрирует, что они могут быть всякими, только дайте им возможность жить, расти, развиваться, совершенствоваться.

И, действительно, из инвалидов часто формируются сильные одаренные личности. Так что не бойтесь, если в вашей семье появится необычный ребенок. Лучше сделайте все возможное, чтобы этому необычному человечку жилось хорошо и интересно.

Родичи навещают меня

Однажды, в период адаптации к детдому, я увидела во сне мать, и чуть не закричала на всю палату. Я ещё не знала, что теперь каждый ее приезд буду чувствовать заранее. И в этот день она неожиданно приехала, и, швырнув сумку у моей койки, со слезами на глазах побежала к воспитателям. У меня застрял в горле комок, и я не понимала, радоваться мне маминому приезду или плакать, разделяя ее настроение? Из палаты слышала как она, плача, что-то сбивчиво рассказывает Зинаиде Степановне.

Минут тридцать я ждала, когда мама вспомнит обо мне. Наконец она зашла в палату и, присев ко мне на кровать, отсутствующими заплаканными глазами уставилась в окно.

– Мама, когда я домой поеду? – не к месту задала я свой главный вопрос.

– Никогда! – резко ответила она, не отрывая взгляда от окна.

Я заревела в голос:

– Хочу домой! Не хочу больше здесь жить!

– Куда я тебя возьму? Твой папка нас бросил, мы с Ольгой теперь живем у тёти Маши, – пояснила она, наклонившись и стала что-то искать в сумке.

Потом вытащила оттуда помидорку, положила ее на окно и стала поспешно собираться домой. Я сразу не поняла значения слова «бросить», в моем понимании оно означало бросание какого-нибудь предмета или чего-то ненужного. Но минуту помолчав, внезапно почувствовала его и завывала, причем не по-детски, а по-бабьи.

– Будешь так орать, я к тебе больше не приеду, – заругалась мама и выбежала из палаты.

Ночью я опять горела в жару и металась по койке. Утром подошла няня, чтобы покормить и, видя, что я едва открываю глаза, только махнула рукой.

Прошло недели две, и я снова стала оживать. Девчонки, прослышавшие, что мои родители разводятся, стали приставать с расспросами:

– А что, твои родители дрались дома?

Дурацкий вопрос. Я понятия не имела, что родители могут драться, но для многих девчонок было привычным делом видеть дерущихся родителей. И, когда я сказала, что папка никогда маму не бил, никто не поверил мне.

– Почему же тогда они разошлись? – докучали девчонки.

Они так доставали меня вопросами, что однажды я не выдержала и соврала им, что папа в маму кидал тарелки, и после этого признания от меня отстали.

В августе проведать меня приехала Нянька – моя тётя Тамара. У нас был мертвый час. Я спала, когда в палату вошла нянечка и разбудила:

– Тома, просыпайся, к тебе приехали.

Я замерла, не зная, что делать – радоваться или снова реветь? Но нянечка быстро одела меня и вынесла на улицу, чтобы я рёвом не подняла весь корпус. При этом натянула на меня домашнее платье одной из спящих девочек, сочтя мое недостаточно приглядным для показа родичам.

– А вдруг она проснется, и меня потом ругать будет? – забеспокоилась я.

– Не будет ругать, – заверила меня нянечка. – Скажу, что это я взяла.

Вынесла меня на поляну, и тут я увидела свою милую Няньку, шмыгнула носом, готовясь зареветь, но та меня опередила:

– Если заревешь, не покажу, что привезла. – Она поправила на мне воротничок и стала расспрашивать: почему я плачу?

– Домой хочу... – пискнула я, с трудом сдерживая слезы.

– А ты не плачь. Вот я вернусь домой и скажу папе и дедушке, чтобы приехали и взяли тебя домой. Да еще надо коляску сделать, тебе же надо на чем-то сидеть.

Я, конечно, поверила. Но тут подошла нянечка и сказала:

– У нас на её рост ничего нет из белья, вы бы привезли ей хоть пару платяиц.

– Хорошо, посмотрю дома. Если что-то осталось, передам, – пообещала тётя.

После ее отъезда я уже не так жутко ревела. Она потом частенько навещала меня и в детдоме, и в психоневрологическом интернате, и своего сыну Серегу привозила, один раз еще маленького, а второй раз перед армией.

До сих пор недоумеваю, почему Нянька тогда проявляла ко мне больше внимания, чем отец с матерью? Любила как племянку? Сочувствовала, лучше понимая меня из-за собственного увечья?

Но почему так охладела ко мне потом? Когда, через много-много лет, мы с ней оказались в одном Доме инвалидов в Новокузнецке, она отказалась меня кормить. И в ответ на просьбу хоть иногда приходить меня покормить, отрезала как бритвой: «А ты будешь меня кормить?». Я готова простить ее резкость – скверно сложилась ее материнская судьба. Мой двоюродный брат Серега стал крепко выпивать, жена от него ушла, взрослая дочка не особо жалуется отца. Щемящая боль пронзает сердце, когда мне рассказывают про вконец спившегося и опустившегося Серегу, моего товарища по детским играм... Наше безмятежное с Сережей детство... И такие разные жизненные дорожки...

Потом здесь же, в Доме инвалидов, Нянька нашла себе мужчину, друга жизни, обрела личное счастье. И я рада за нее. Жаль лишь пролитых из-за нее слез и горького подозрения, что ее внимание ко мне было выпендрожем перед нашей родней...

В конце августа приехали отец с дедом, привезли коляску, которую смастерил отец. Не успел отец прикрутить к ней колеса, как в комнату, где мы сидели, ворвались три няньки во главе с Левшиной, и началось...

– Как же ты бесстыжими глазами на своего ребенка-калеку смотришь? Как тебе не совестно: такую красавицу-жену бросил с двумя дочерьми! – орала Левшина, уперев руки в бока, словно одна из дочерей не жила всё это время в детдоме.

Я сидела на руках у деда и ела конфеты. Когда Левшина заорала на отца, дед вскочил и выбежал со мной в коридор. Так и просидели мы с ним в коридоре, пока отец не прикрутил колеса к коляске. Я притихла, как испуганный кролик, и все больше вжималась в деда, замирая от оглушительного праведного крика Левшиной.

Чувствуя, как трясутся руки у деда, я поняла, что произошло что-то совсем нехорошее, и не решилась сказать деду про свое желание вернуться домой. Когда коляска была готова, дед посадил меня в нее, закатил в палату, и они с отцом, не попрощавшись, уехали.

Детдомовская школа

Осень 1963 года принесла в наш детдом радикальные перемены.

В сентябре нам выдали фланелевые платья, хотя и не новые, зато по размеру, и на мне стали чаще менять одежду. Но все равно я часто сидела в мокром платье, облитом супом или чаем, и одежда так прямо на мне иногда и высыхала.

Однажды, когда мы сидели в игровой комнате, нам торжественно сообщили, что с новой недели начнётся учеба. В общем, почти как у нормальных детей – осенью начинается школа.

К нам еще весной пришла работать воспитательницей пожилая женщина, Анна Ивановна Сутягина, бывшая школьная учительница, которая по состоянию здоровья не могла больше работать в поселковой школе. Полгода она присматривалась к нам, строила планы по нашему развитию и согласовывала их с начальством. Фактически с ее приходом жизнь в детдоме начала заметно меняться. В нашем корпусе, включавшем пять палат, где мы спали, организовали три игровых комнаты, где должны были проходить учебные занятия.

Нас разбили на три группы примерно по двадцать пять человек: старшая, средняя и младшая. А так как развитие у детдомовцев шло по-разному, решили группировать не по возрасту, а по мышлению. Меня сразу взяли в старшую группу, хотя я не знала ни одной буквы.

Из нашей группы четверо ребят раньше уже посещали школу.

Двое пятнадцатилетних глухонемых, Варя и Саша, владели азбукой глухонемых. Воспитательница Зинаида Степановна без труда освоила эту немудреную азбуку. А вслед за ней и я, и даже выступала в качестве сурдопереводчика. Не знаю, какими ветрами этих двух бедолаг занесло в наш специализированный детдом для больных детей. Варя была совершенно здорова физически, успела успешно закончить восемь классов, и, когда ее спрашивали, почему она сюда попала, объясняла, что в той школе для глухонемых поспорила с завучем и та из мести отправила ее сюда. А вот как Саша попал в наше заведение, так и осталось тайной.

Двое других детей были из вспомогательных школ: Надька с «овечьей» стрижкой, и ещё одна девчонка с таким же увечьем – стянутыми рукой и ногой, и со слабо работающей головой.

Ох, как же неохота была другим воспитателям напрягать себя занятиями с такими, как мы! Тем более что у половины из них не было педагогического образования. Им проще было сгрудить нас в одной комнате, а самим сесть в проходе и заниматься своими делами, и только в туалет выпускать по одному. И так до конца своей рабочей смены.

Но пришла Анна Ивановна и стала заставлять остальных воспитателей трудиться на уровне нашего образования. В игровые комнаты завезли столы, стулья, на стену повесили черную доску. Всё как в обычном классе, только сначала нам давали не тетрадки, а лишь листочки из них. И на этих листочках мы учились выводить крючочки и палочки. Многим это было новинку, хотя большинство детей было подросткового возраста.

Для меня самым интересным занятием стало изучать буквы. У Анны Ивановны буквы были нарисованы на квадратных картонках, она на них объясняла, что за буква и как звучит. Обходила всех сидящих за столами, потом показывала, тем, кто сидел на колясках.

Нас, колясочников, было трое в группе: я и двое пацанов, Игорь и Вася. У Васи папа работал главбухом, а у Игоря родители трудились в Кемеровском собесе. Поэтому к обоим проявляли повышенное внимание. Впоследствии эти ребята, благодаря родителям, попадут в хорошие дома инвалидов. Не то, что я, обреченная скитаться по заведениям для психохроников...

Воспитатели индивидуально подходили к ним, показывая буквы, спрашивая, запомнили они данную букву или нет. Меня не баловали таким вниманием, и если мне не было видно, я начинала пищать со своего места «мне не видно!» Воспитатели оборачивались и показывали пропущенную букву.

Таким образом, я одновременно училась грамоте и демонстрировала напористость и умение постоять за себя. И поскольку обладала отличной памятью – хоть один дар природы – к Новому году знала все буквы. И возгордилась этим – шутка ли, 1964-й год встретила грамотным человеком.

За зиму я окончательно освоила премудрости чтения, но книг, помогающих ребенку закреплять пройденное, в нашем детдоме не было. Но как бы взамен самостоятельному чтению Анна Ивановна Сутягина давала другое, может быть, даже более важное.

Обычно после ужина с семи до восьми часов нас нечем было занять, а до конца смены воспитателей оставался целый час. Летом-то можно запускать всех на улицу, а зимой весь час ушел бы на одевание-раздевание, и никакой прогулки бы не получилось бы. Поэтому воспитатели использовали этот час по своему усмотрению. Большинство из них загоняли все группы в одну игровую комнату, сами кучкой садились в проходе и вели свои личные разговоры, а детки в это время, естественно, «стояли на ушах».

А вот Анна Ивановна, которую за глаза называли «белой вороной» и презрительным словом «интеллигенция», в свою смену собирала нас в нашей игровой и читала вслух. Благодаря ей, я в семилетнем возрасте услышала первые художественные произведения – то были отрывки из «Кавказского пленника» Льва Толстого и «Детей подземелья» Владимира Короленко. Потрясенная судьбой детей подземелья, я долго не могла уснуть, наверно, это был мой первый урок благородства и сострадания. А история Жилина и Костылина дала представление о жизнестойкости – в любой ситуации многое зависит от самого человека.

Я научилась садиться

Весна 1964 года. Занятия по начальному обучению шли с января по апрель. Мне так понравилось учиться! Жаль только, что уроков было меньше, чем мне хотелось. И что все воспитатели, кроме подвижницы Сутягиной, вместо закрепления наших навыков по усвоению букв и слогов предпочитали необременительное – играйте, дети, только нам не мешайте.

Однажды после ужина я уже находилась на койке, но лежать ужасно не хотелось. В этот день я безвылазно проторчала в неподвижной коляске. Поначалу коляску со мной ребятня катала туда-сюда – все ж развлечение и им, и мне. А три воспитательницы и две няни, собрав все группы в одной из игровых комнат, сами сидели в проходе, ведя бесконечные беседы «за жизнь». Одну из них, Веру Александровну, страшно нервировало, что мою коляску передвигают. Вряд ли ее беспокоил шум, создаваемый коляской, детские крики его перекрывали. Но Вера Александровна изначально относилась ко мне с антипатией, понять и объяснить которую не мог никто, включая ее саму.

– Поставьте Черемнову возле стены! Не возите ее больше! – истошно завопила она.

Ребята испуганно повиновались, подвезли коляску к стене и отошли, боясь распалить гнев Веры Александровны. Получилось, что я оказалась лицом к стене. Почему воспитательницы не развернули меня лицом к обществу – непонятно. То ли не обратили внимания на такую мелочь, что девочка сидит, уткнувшись в стенку, то ли поленились. Так я и просидела до самого обеда, слыша, как за моей спиной весело резвятся ребяташки и оживленно квохчут сотрудницы, обсуждая семейные неурядицы и житейские перипетии. А я – в изоляции, передо мной – мертвая стена...

Эту глухую белую стену я запомнила на всю жизнь. Сначала стена была лишь детской обидой, а потом превратилась в символ, стена – неумолимый враг, которого я должна победить. Сколько потом по жизни мне придется разбить таких глухих стен!

А когда рухнет последняя стена, я растеряюсь от пустоты. И пройдет немало времени, прежде чем свыкнусь с новым для меня препятствием и новым врагом – пустотой. И до сих пор не знаю, что страшнее – стена или пустота?

Ах, если бы у всех-всех инвалидов, подобных мне, с парализованными ногами и руками, была нормальная жизнь, если бы мы тоже могли видеть, слышать, ощущать, осязать окружающий мир и вливаться в его кипучую жизнь! И, главное, чтобы не мучил вопрос: окажут ли нам нужную бытовую помощь или не окажут?

Что завтра ждет меня, физически беспомощную, если, не дай Бог, заболеет моя помощница Ольга – глухонемая соседка по комнате в моем нынешнем новокузнецком Доме инвалидов? Да я без Ольги в буквальном смысле останусь без рук! Какой бы знаменитой я ни стала, меня всегда и везде будет преследовать моя немощь – крест, который суждено нести до конца дней. И это так унижительно – жить в полной физической зависимости от других...

Люди! Здоровые, нормальные, неувечные, некалечные, способные передвигаться на своих ногах и владеть своими руками! Дышите свободно и радуйтесь, что вы одарены немислимым богатством – способностью к самостоятельному и контролируемому движению! Считайте себя счастливыми, пока вы ни от кого не зависите! Не хотите считать, что здоровое самоуправляемое тело – счастье? Тогда хоть согласитесь, что это – основа для счастья.

Но вернемся в тот памятный вечер. Проторчав весь день в стоящей коляске (после обеда меня тоже не катали), я елозила на кровати, отчаянно демонстрируя протест против наскучившей обездвиженности и надоевшей беспомощности... И вдруг, даже не осознавая того, дернулась и, о чудо! Сама села на попу, вцепившись пальцами в панцирную сетку, чтобы не упасть! Ну надо же, сколько меня не пыталась научить садиться дома, у меня не получалось, а в детдоме, где моим физическим развитием никто не занимался, всё получилось!

В палату вошла нянечка, она не сразу заметила меня сидящей, а когда увидела, удивилась:
– Тома, ты сидишь! Ты сама села?

Я подтвердила, мотнув головой. Говорить не могла, потому что от радости в груди встал ком, и было трудно его выдохнуть. Нянечка, поцокав языком и похвалив меня, вышла. А я повернула голову к окну, увидела пассажирский поезд, рельсы, а вдали, за железнодорожной линией, лесок, всхлипнула от радости и без сил повалилась на подушку, настолько меня вымотало первое самостоятельное усаживание. Теперь я сама могу дотянуться взглядом до окна, леса, поезда, людей в освещенных окнах!

Моей жизни, конечно, не позавидуешь, но в тот весенний вечер я ликовала.

Зависть к тополю и муравьям

После этого я стала чаще сидеть на полу в палате, коридоре, игровой комнате, хотя плохо держала равновесие и часто падала. Иной раз так треснусь головенкой об пол, только искры сыплются из глаз. На полу куда вольготнее, чем в коляске, хотя частенько влетало от нянь за сбитую ковровую дорожку. Они стелили ее посередине коридора, а я своими неслушающимися ногами невольно сдвигала в сторону.

Несмотря на ругань нянь, я всё чаще и чаще просила, чтоб меня посадили на пол в коридоре, где больше простора. Взрослые недоумевали, ворчали, но сажали и поправляли сдвинутый мною ковер. Видно, сами понимали, как нелепо выглядит этот ковер-половик на фоне обшарпанных стен и окон без занавесок.

Когда весна 1964 года только-только зажурчала ручьями, в жизни детдома наметились перемены. Затеяли строительство служебного здания из крупнопанельных блоков, но разместили там не детей, а кабинет директора, бухгалтерию и столовую. А в нашем деревянно-барачном жильё решили провести паровое отопление – едва сошел снег, рабочие начали ставить батареи. А с приходом лета нас стали возить в баню – в телеге, запряженной лошадьё. И меня, наконец, начали полноценно мыть с мылом и мочалкой! И стали чаще менять одежду. В начале весны девочек нарядили в легкие платьица, но летом передумали и решили обмундировать всех детдомовцев «под мальчиков» – выдали майки и нечто среднее между трусами и шортами.

Иногда нас, колясочников, выносили на улицу в тень большого тополя, росшего возле нашего корпуса. Сидя вблизи дерева, я с любопытством разглядывала его морщинистый ствол, по которому ползали муравьи, жучки, паучки... К этому времени моя многострадальная коляска осталась совсем без колес; ее водружали на два стула или ставили на пол, после чего туда сажали меня.

Как думаете – о чем может думать в такие моменты восьмилетний ребенок, сидя в сломанной коляске? Ну так я вам расскажу: он *завидует* дереву. Потому что оно постоянно живет на улице, на воздухе, под солнцем, под луной, под ветерком, под дождиком, под снегом. Потому что ему не надо возвращаться в корпус, где обязательно обругают, а ночью нахлынет тоска. Тополиные ветви качались высоко над землей, и казалось, что они задевают облака. «Как хорошо ему здесь, его никто не обижает...» – завистливо думала я и тихонечко вздыхала.

Потом меня стали интересовать все самостоятельно движущиеся существа: звери, птицы, насекомые. Особенно насекомые – они были совсем рядом со мной. Было ужасно приятно наблюдать, как туда-сюда снуют мелкие жучишки и паучишки. Как ползут божьи коровки – красные, оранжевые, желтые, с черными пятнышками-горошками на спине, как они внезапно взлетают, поджав лапки и выпустив из-под плотных верхних крыльев полупрозрачные нижние. Как, расправив крылышки, взмывают вверх мотыльки. Как грациозно порхают разноцветные бабочки и опускаются на листок или травинку. Я смотрела на бойко семенящего муравья и представляла, что это я бегу, и будто *своими* глазами видела, как перед этим бегущим муравьишкой перемещаются все предметы. И завидовала им всем, самостоятельно передвигающимся на своих ногах...

«В умственном развитии отстают...»

Незаметно пролетело короткое сибирское лето. Казалось бы, совсем недавно было все зеленым зелено, но вот уже видна осторожная поступь осени. У тополя возле корпуса с каждым днем золотого в листве все больше и больше.

В конце августа 1964 года к нам приехала важная областная медкомиссия с проверкой, особенно дотошно проверяли нас, колясочников. Несколько человек с нормально работающими руками сразу же отправили в другой детдом. Подошла моя очередь. С меня сняли платье прямо в коляске, и я осталась в здоровенной, не по размеру, майке и без трусов. Их на меня в тот день почему-то не надели.

– Почему на тебе нет трусов? – взяв меня на руки, строго спросила Нина Степановна, родная сестра зловредной Анны Степановны Левшиной, словно я сама одевалась и раздевалась.

– Мне их не надели... – шмыгнула я носом, мне и самой было неловко предстать в таком виде.

Положив на стол, члены комиссии долго разглядывали мое тщедушное тельце и тихо переговаривались между собой. Кое-что из разговора я расслышала, а кое о чем могла догадаться по их лицам.

– Она что, обходится без трусов? Она хоть понимает, что так ходить стыдно? Она в состоянии сама себя обихаживать?

– Нет, она себя не обихаживает, – ответила Нина Степановна. – За ней ухаживают няни, кормят с ложки. Девочка очень слабая, постоянно плачет. В умственном развитии отстают.

Фраза была убийственной. Она заявила о моем умственном отставании, даже не поинтересовавшись, как проходило моё начальное обучение! А я, меж тем, успешно выучила все буквы и могла складывать слова и предложения. Учеба давалась легко и была лучшим из развлечений, я уже мечтала, что, помимо чтения и письма, меня будут обучать другим интересным предметам. Но Нина Степановна своим нелепым и безапелляционным утверждением перечеркнула всё мое будущее, лишив меня права на образование. А для комиссии большего доказательства не требовалось – заключение главной медсестры казалось им вполне достаточным.

В октябре в нашем корпусе подключили паровое отопление, начали красить палаты и игровые комнаты, перебрасывая нас из одной комнаты в другую. Понятно, что никаких занятий не было – их невозможно проводить при ремонте.

Занятия начались только после Нового года, в январе 1965-го. Оказалось, никто из ребятишек ничегошеньки не помнил из пройденного, только я могла назвать выученные буквы, да еще те, кого привезли из вспомогательных школ.

Материнское отвращение

С горечью вспоминаю эпизод, связанный с посещением матери и окончательно определивший наши отношения. Это случилось в октябре 1964-го, когда ремонт в корпусе шел полным ходом, уроки чтения были отложены, погода хмурая, настроение паршивое... Я ждала маминого визита с особым трепетом.

Однако мать в тот день повела себя весьма странно. Когда я попросилась на руки, она вытащила меня из коляски и стала водить под руки, как, бывало, делала дома, но при этом старалась отодвинуться подальше и не касаться меня. А когда я попыталась прижаться к ней, резко отстранила и с укоризной спросила:

– Тома, ты почему какаешь в штаны?

– Я не какаю в штаны! Нас за это ругают, – стала оправдываться я, опешив от несправедливого обвинения.

– Тогда почему у тебя все штаны в какашках? – брезгливо поморщилась она.

– У нас бумажек нету... – виновато засопела я, разглядывая на себе женские панталоны, которые мне были так велики, что свисали ниже колен, заменяя рейтузы.

Малоприятная картина – неухоженная малышка-инвалидка в коротком платьице, из-под которого чуть ли не до пяток свисают панталоны-рейтузы, и со сползшими чулками, волочащимися по полу. Могу представить, таким несуразным чучелом я выглядела! Да еще матери сообщили о моем умственном отставании и решении комиссии...

Я не в состоянии понять свою мать Екатерину Ивановну. Она же поначалу любила меня! Сохранились трогательные фотографии, где я у нее на руках – привлекательная женщина и милая малышка с ещё не выраженными признаками болезни. Когда я жила дома, она была ласкова со мной и принимала меня такую, какая есть, с изрядными отклонениями в физическом развитии и верила в мое выздоровление. Неужели вот так, из-за болезни, можно разлюбить своего ребенка? И так легко согласиться с умственной отсталостью, придуманной медсестрой – не врачом, не педагогом – и утвержденной небрежной комиссией? Ведь я жила дома почти семь лет, и мать могла объективно и *по-матерински* оценить мое умственное развитие!

Почему эта женщина во время своих нечастых визитов в детдом, видя собственное дитя в грязи и коросте, *ни разу* не попросила теплой воды, чтобы хоть чуть-чуть привести его в порядок? Ведь теплую воду всегда можно было взять в столовой и обмыть девочку над тазом.

Зато как ей нравилось рассказывать, что когда вернулась от меня домой, у нее на руках обнаружили чесотку и на две недели отпустили на больничный. Я ее заразила чесоткой – вот что главное, а не то, что от этой чесотки страдал полулежачий ребенок, который не мог даже почесаться.

В её глазах было только отвращение к запущенной детдомовке, в которую превратилась ее дочь, и тайное желание, чтобы этой неудачной дочери вообще не было бы в природе. Получалось, что для неё было бы лучше, если бы я поскорее умерла, чтобы, наконец, исчезла несуразица – у такой красавицы такой уродец ребенок. И она вынуждена регулярно посещать этого уродца в детдоме – иначе люди осудят, мол, бросила, забыла. И она исправно приезжала ко мне раз в 3–4 месяца. Потом выяснилось, наносила визиты мне исключительно тогда, когда ей было плохо, когда ссорилась с бывшей родней: со свекровью или золовками.

Бедная моя мама Екатерина Ивановна! Я ее не презираю, не осуждаю, скорее жалею. Ведь, наверное, нелегко таскаться «из-под палки» в детдом и возиться с вызывающей отвращение дочкой-инвалидкой даже четыре раза в год.

Я думаю, что не любить человека, которому дала жизнь, брезговать и тяготиться им – один из самых страшных грехов. Потому, что невозможно измерить глубину страдания этого маленького человека.

К другим детдомовцам, которые, как и я не были сиротами, тоже приходили родичи. Но не так вот, нехотя, формально, будто исполняя повинность, а с виной, любовью и заботой. И в первую очередь смотрели в чистоте ли ребенок? И не забывали приласкать и понежничать. Как же мне не хватало вот этой, хотя бы эпизодической, любви, ласки, нежности и заботы! Потом, во взрослых стационарах, я наблюдала, как родители навещают взрослых детей-инвалидов, сброшенных на попечение государству, чтобы отгородиться от убогого или потому, что не в состоянии ухаживать сами. Это всегда было не для галочки, визитеры приходили, чтобы позаботиться, подкормить, поддержать, развлечь, понежничать...

Когда, после многолетнего кочевья по кузбасским приютам для инвалидов-психохроников, я наконец добилась перевода в Новокузнецкий дом инвалидов № 2 общего типа, Екатерина Ивановна объявилась вновь. Многие думают, что ее привлекло то, что я стала кемеровской знаменитостью. Однако она ни разу не отметила мои писательские успехи.

Эти годы многое изменили. Мать постарела и подурнела, а я, наоборот, перестала считать себя уродиной, недостойной существования, и приняла себя такой, какая есть. Но она по-прежнему намекает на диссонанс – красавица-мать и дочь-уродец. И теперь исправно навещает меня всё в том же безотрадном жанре – холодном, формальном, унижающем и поучающем. Очень хочется сказать ей: ты больше сюда не приходи. Но что-то мешает, возможно, жалость к ней...

Кому пожаловаться? Солнышку!

В декабре 1964 года нашу палату расформировали. Взрослых девчонок оставили, а малышей перевели в соседнюю, и моя койка оказалась первой возле двери.

Теперь больших ходячих девочек по вечерам няни заставляли вместо себя мыть полы в игровых комнатах и в коридоре. За это их добавочно кормили – давали остатки от ужина и домашнюю снедь, приносимую нянями для себя и на угощение. Девчонки не забывали поделиться со мной: преподнесут то крохотный кусочек салца на ломтике хлеба, то колечко соленого огурчика. Никто из нянь не был против, ещё и потому, что бутерброд и огурчик я могла держать и есть самостоятельно, никого не обременяя. А когда было очень голодно, я просто просила у них хлеба.

– Только не сори на пол, – говорили они, подавая мне кусок.

И, чтобы не насорить крошками, я клала хлеб на полотенце и начинала грызть, придерживая рукой, потом только оставалось аккуратно вытряхнуть полотенце в ведро с отходами, и все чисто. Смириться с этим не могла только злобная Анна Степановна Левшина. Если она замечала, что кто-то из девчонок несет мне в палату кусок хлеба, начинала истерически орать:

– Что, опять Черемновой хлеб несешь? Немедленно положи его обратно на стол!

Сейчас, много лет спустя, я думаю: а нормальной ли была Левшина? Такая ярко выраженная агрессивность по отношению к беспомощному ребенку свидетельствует о явных отклонениях в психике. Такую неуравновешенную женщину, конечно, не стоило подпускать к детям, тем более в качестве дежурной няни, которая обязана присматривать за детьми постоянно и совершенно бесконтрольно.

Когда Левшина начинала орать, я вздрагивала и инстинктивно поджимала ноги. Эта привычка, увы, закрепится и останется на всю жизнь, впоследствии мне так и не удастся перебороть непроизвольное поджимание ног при волнении.

Однажды мое терпение иссякло. В ночь, когда работала Левшина, девчонки, как обычно, пошли мыть полы. Я, лежа в постели, услышала, как она говорит девчонкам в коридоре, чтобы те не таскали Черемновой хлеба, иначе не выдаст им вкусного копченого сала. Я почувствовала внутри себя какой-то вязкий страх, в глазах зашипало, а в следующую секунду во мне вскипела ярость. Возле кровати на стуле у меня стояла эмалированная кружечка с водой, и я, обезумев от обиды, начала швырять эту кружечку на пол. Ходячая девочка, находившаяся рядом со мной, поднимала кружечку и ставила обратно, а я снова кидала ее. Левшина, услышав звон бросаемой кружки, потребовала объяснений. Девочка вынуждена была выйти из палаты и признаться, что это я кидаю кружку. Я слышала, как Левшина несколько минут молчала, видимо, осмысляя мой протест и перемальвая собственные эмоции, потом заорала, привизгивая:

– Черемнова, если бросишь еще раз кружку, завтра пожалуюсь на тебя воспитателям!

– Иди, жалуйся хоть Деду Морозу... – прошептала я, давась слезами. – А я пожалуюсь солнышку!

Больше пожаловаться было некому, но от этой спасительной мысли мне полегчало.

Телевизор

В феврале 1965-го открылся административный корпус, который строили почти год. Кроме директорского кабинета, бухгалтерии, столовой для ходячих, там оборудовали клубную комнату с телевизором – единственным на весь детдом.

В марте в честь Женского дня в эту комнату созвали ребятню – посмотреть только что купленный телевизор. В игровой, где мы в это время находились в своём корпусе, стоял веселый гомон. Договаривались, кто из ходячих поможет добраться неходячим, обсуждали, какой фильм пойдет по программе.

Узнав, что меня не берут, я расплакалась. Очень-очень хотелось посмотреть, что же это такое телевизор? Дома у нас телевизора не было. Я, вконец исплакавшаяся, лишь обессилено хрюкала, когда в игровую комнату вошла воспитательница Нелли Семеновна.

– Тома, ты чего плачешь? – удивилась она.

– Я тоже хочу к телевизору... смотреть кино... – призналась я ей, приостановив поросычье хрюканье.

– Мы бы вас, колясников, взяли, да на улице еще холодно. И вдруг кто-нибудь из вас в туалет захочет, как тогда быть? – спросила она.

– Нет, не захочу, я могу терпеть, я дотерплю до своей палаты, – заверещала я, и надежда затеплилась в моей душе.

– Ладно, что-нибудь придумаем, – пообещала Нелли Семеновна, погладив меня по голове. – Сейчас договорюсь с нянечками и попрошу пацанов, чтобы отнесли тебя в клуб.

Няни завернули меня в одеяло, нахлобучили на голову чью-то зимнюю шапку, два взрослых пацана подхватили мою «безногую» коляску и притащили в клуб.

Не буду описывать, в какой шок поверг меня телевизор – чудо техники 20-го века. Я не могла отвести глаз от экрана с мелькавшими на нем фигурками, и от чрезмерного волнения и восторга впервые в жизни описалась в одеяло. Оказалась, что не я одна такая. Многие ребяташки вернулись с просмотра кино мокрыми. Однако нас никто не отругал за это, и так как няня Левшина в тот вечер не работала – а уж она бы точно разразилась скандалом – обошлось без криков.

Сегодня, когда телевизор стал повседневностью, и цветные модели вытеснили черно-белые, я с улыбкой вспоминаю тот первый в моей жизни телепросмотр. С улыбкой и с благодарностью тем, кто устроил мне этот праздник.

Потом нас по выходным дням регулярно носили к телевизору смотреть мультики. Какая же это была радость для колясочников!

Сестренка Ольга

Мои родичи выбрали удобный вариант жизни, в котором не нашлось места моим интересам и желаниям, хотя соблюдали приличия и иногда навещали. От этого мне становилось даже хуже, чем тем, у кого и вправду не было никого из родителей. Сегодня статус, подобный моему, именуется «социальная сирота» – родители наличествуют и даже время от времени проявляются, но это мало что меняет в горькой сиротской жизни. Получалось нелепо и неловко – приезжала здоровая красивая женщина, торопливо вытаскивала из сумки что-то в бумажке, клала на тумбочку, говорила мне что-то поучительное, уходила поболтать с воспитателями «о своем, о женском», уезжала, порой даже не попрощавшись.

То, что мне было плохо, ее не касалось. Я даже не смела ей пожаловаться. Екатерина Ивановна – как яркая бабочка – залетала, попорхала крылышками и улетела. Какое там выслушать! Лишней секунды подле меня не просидит! Это даже выглядело глупо – проделать такой длинный путь из Новокузнецка до станции Бочаты, там только на электричке два часа, и уделить мне считанные минуты.

Каждый раз словно снимался один и тот же эпизод кинофильма: мать подхватывала меня под руки и держала как куклу, и, не обращая ни малейшего внимания на мои неловкие телодвижения и отчаянные попытки поговорить с ней, болтала с сотрудницами детдома. А если я жаловалась, что устала так стоять, сразу же сажала в коляску, не выслушивая моих объяснений и не пытаясь перехватить меня поудобнее.

Мне была совершенно непонятна материна симпатия к садистке Анне Степановне Левшиной. Понятно, что она не рассказывала матери, как унижает меня, но я-то пыталась пожаловаться на неё. Впоследствии выяснилось, что сотрудницы рассказали Екатерине Ивановне о левшинских злобных выпадах в адрес ее дочери Томи Черемновой, но мать выслушала безо всякого интереса. В отличие от других родственников, она не приставала к персоналу расспросами о жизни и здоровье дочери, ей было все равно. А меня разрывала обида, боль и ревность ко всем, кому моя мама уделяла внимание в ущерб мне.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.